

## Глава 7. ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ.

*В Петрополе прозрачном мы умрем,  
Где властвует над нами Прозерпина.*

*Осип Мандельштам*

Эпохи, предшествующие социальным и политическим катаклизмам, обладают странной и до сих пор не получившей рационального объяснения особенностью. В периоды, когда уже воспламенился бикфордов шнур исторической причинности и огонь с шипением неотвратно приближается к запалу исторического катаклизма, когда воздух наэлектризован ожиданием грядущей катастрофы, на ветвях обреченного общества иногда распускаются пышные цветы утонченной художественной культуры, науки, а порой и видимого экономического благополучия. Это время позднего цветения обладает особым духом, особой поэтикой. Оно привносит в общественную жизнь атмосферу последних дней уходящего лета. Так было в Риме в поздний, заключительный период его истории. Так, по крайней мере дважды, было в Германии - перед началом Реформации, которая сопровождалась Крестьянской войной и городскими восстаниями анабаптистов, и сто лет спустя, перед Тридцатилетней войной. Так было во Франции XVIII в., которая, как известно, в последние перед революцией десятилетия пережила значительный экономический и духовный подъем. Так было и в России на исходе XIX и первые полтора десятилетия века XX.

Рубеж столетий... Начало века... Как удивительно, как неохватно много значит этот короткий период в истории русской культуры, в развитии нашего эстетического самосознания! Пожалуй, никогда - ни раньше, ни тем более позже - культурная жизнь русского общества не была столь насыщенной. В первую очередь это, конечно, относится к художественной культуре, ярчайшая вспышка которой стала явлением не только национального, но и общемирового значения. Думается, нет необходимости специально представлять ее читателю. В результате

революционного взрыва ее обломки и семена разлетелись по всему свету, а здесь, в России, уже четвертое поколение людей именно через приобщение к ней открывает для себя мир подлинного Искусства. О феномене “Серебряного века” русской художественной культуры написаны тома. И все же масштабы этого явления, думается, до сих пор не оценены по достоинству. Слишком многие привходящие обстоятельства влияют в нашем столетии на оценки художественных (да и вообще культурных) явлений.

К тому же подъем на рубеже веков затронул не только художественную сферу. Он наблюдался и в науке, и в экономике 1), и в образе жизни, во всяком случае городского населения. Никогда в России не думали, не говорили, не писали так раскованно и свободно, так безбоязненно и открыто, как в эти два последних предреволюционных десятилетия. Не случайно поколение писателей, юность которых пришлась на это время, через всю жизнь пронесли в душе и уже на склоне лет выплеснули в своих мемуарах ощущение какой-то удивительной теплоты, моральной полноценности, Человечности тогдашней жизни (что, конечно, отнюдь не означает какой-либо ее идеализации). Ощущение это явственно присутствует на страницах воспоминаний и таких официально признанных, более или менее благополучных советских писателей, как Паустовский, Олеша, Катаев, и эмигрантов - Набокова, Цветаевой, и тех людей, которые, оставшись в России, всю последующую жизнь пытались как-то приспособиться к новым обстоятельствам, словом, “выживали”.

О многом говорит и другая очень характерная примета времени. Я имею в виду **расцвет свободного группового интеллектуального общения на неформальной, дружеской основе**, что представляется одной из самых плодотворных, нравственно полноценных и зрелых форм межчеловеческих контактов. Навыки такого общения вырабатывались русским обществом в течение всего XIX столетия. Его отдельные, порой блестящие образцы можно обнаружить практически в любом из его десятилетий. Но при всем их блеске то были лишь прототипы, предшественники явления, о котором сейчас идет речь.

Общение франкмасонов, декабристов, а затем последующих поколений наших заговорщиков-революционеров в силу своего нелегального, закрытого характера неизбежно несло черты замкнутости и других конспиративных ограничений. Общение лицеистов или, например, членов московского кружка Станкевича было гораздо более свободным, однако оно оставалось в высшей степени элитарным, охватывая лишь ничтожные по количеству группы людей. Гораздо более “массовому”, салонному общению, напротив, не хватало интеллектуальности, глубины обсуждения проблем, подлинной заинтересованности в них участников общения. Хотя в салонах и гремели порой голоса Чацких, однако тон задавали другие, а вокруг “возмутителей спокойствия” с удручающим автоматизмом образовывалось разреженное пространство, ведь они нарушали святая святых - нормы “света”. Общение академическое, присущее научной (в первую очередь университетской) среде, которое особенно распространилось начиная со второй половины века, конечно, отнюдь не страдало недостатком основательности и глубины, однако было ущербным в других отношениях: оно протекало в стенах учреждений в соответствии с их правилами, между людьми, связанными по службе, и потому не являлось неформальным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этому общению недоставало свободы и легкости в постановке и обсуждении острых вопросов; к тому же, как известно, чрезмерный академизм тоже далеко не всегда способствует плодотворности дискуссий, делая их узкоспециальными и чересчур сухими по форме. Кроме того, по самой своей сути оно не могло не быть корпоративно-элитарным. Таким образом, любой из перечисленных разновидностей общения чего-нибудь да нехватало с точки зрения соответствия названным выше признакам.

И именно поэтому приходящееся на конец XIX в. широкое распространение свободного, не стесняемого никакими рамками и шорами обмена мнениями между думающими и переживающими судьбы родины людьми представляется качественно новым явлением в русской духовной культуре. Не только в столицах, но и в любом месте, где жило хотя бы полдюжины образованных и обладающих гражданским самосознанием людей, почти непременно возникал удивительный вид

человеческой общности. Членов ее объединяло не имущественное положение, не сословная принадлежность, не профессия, не какие-либо практические дела и интересы, а то с трудом поддающееся точному описанию, почти неуловимое для постороннего родство душ и устремлений, тот способ мышления и характер отношения к миру и своему в нем месту, словом, та жизненная позиция, которая, собственно, и определяет принадлежность человека к этой не ухватываемой никакими статистическими сетями группе **-интеллигенции**.

В общностях такого рода существовал поразительный микроклимат, когда все внешние различия между собеседниками отступают куда-то на задний план и возникает ни с чем не сравнимая атмосфера абсолютной умственной раскованности и свободы, когда непроизвольно активизируются интеллектуальные возможности каждого участника разговора и начинается совместное умственное парение, к которому в высшей степени применимы слова Сент-Экзюпери о роскоши человеческого общения. Земной декорацией для него мог быть стол с самоваром либо бутылкой водки, лужайка у реки или купе поезда, не суть важно. Главная черта такого общения - безоглядное и бескорыстное стремление к обнаружению истины в волнующих собеседников вопросах. А в России такими вечно большими вопросами были в первую очередь проблемы общественного характера.

Тысячи, а может быть, и десятки тысяч подобного рода "кружков" пульсировали в тогдашней России. И вокруг каждого группировались люди, через них приобщалась к искусству свободного мышления молодежь. Не случайно практически все литераторы и мемуаристы, описывавшие то время "с натуры", так или иначе обязательно заговаривали об этом существенном феномене тогдашней жизни.

Вообще российская интеллигенция того периода - явление общемирового значения. Страна, которая во всех прочих отношениях была в глазах цивилизованного мира наравне с Турцией символом косности, варварства и отсталости, словно приложила все свои потенции к одной точке и достигла здесь поразительных результатов. Пожалуй, ни одно из самых развитых государств тогдашнего мира не могло похвалиться такой интеллигенцией, какая существовала в России конца

XIX - начала XX в. Парадоксально, но на Западе с его многовековыми традициями науки, культуры и нонконформистского мышления прослойка интеллигенции была в тот период гораздо менее заметной и в количественном, и в качественном отношении, чем в наиконсервативнейшей деспотической России. Конечно, это не более чем отражение ситуации лишь в один из моментов исторического времени, что само по себе не дает оснований для каких-либо далеко идущих выводов, но все же именно таков зафиксированный многими эмпирический факт.

Нравственный Монблан русской интеллигенции вырос в “зоне разлома”, находившейся под воздействием двух принципиально различных культур, или, если воспользоваться понятием, введенным в науку Маргарет Мид, являлся “маргинальным” образованием. Именно полярная противоположность ценностей интеллигента и окружавшей его российской среды обусловила столь характерную для него жизненную позицию одинокого героизма, столь обостренно-драматическое мировосприятие. Эта способность и готовность к социальному противостоянию - свидетельство великой нравственной силы русской интеллигенции, но одновременно и источник ее практической слабости, что в конечном счете и определило ее последующую трагическую судьбу. (Естественно, мы имеем в виду “ту”, почти вымершую интеллигенцию, а не советских ее наследников, которые вместе с дипломами как бы получали казенные мундиры с соответствующими ГОСтовскими знаками различия - “младший интеллигент”, “старший интеллигент”, но отнюдь не представление о социальной роли интеллигента в обществе.)

Этот духовный взлет происходил на фоне по-прежнему сугубо системоцентристского, крайне отсталого массового сознания населения страны и в целом консервативной, несмотря на наличие отдельных либеральных фигур, системы государственной власти. Разрыв между обществом и его вырвавшимся вперед авангардом стал недопустимо велик. Общество и интеллигенция просто перестали понимать друг друга. И это тоже послужило одной из причин последовавшего вскоре крушения, подсознательное ожидание которого жило почти в каждой

клеточке тогдашнего мира. Ощущение нежизнеспособности существующего общественного уклада, отсутствия у него будущего стало всеобщим.

Теперь перейдем к краткой характеристике типа сознания различных социальных слоев. Достаточно подробное рассмотрение этих вопросов применительно к царствованию Александра III позволяет нам в данном случае главное внимание уделить анализу динамики изменений, происходивших в общественном сознании в последнее романовское царствование.

Начнем опять с вершины пирамиды власти - с императора и его ближайшего окружения.

О Николае II написано немало. Ряд других, объективно более значительных фигур новой русской истории, в том числе и из числа августейших особ, удостоился куда меньшего внимания. Однако для авторов большинства работ стремление к выявлению истины, к сожалению, не стояло на первом месте, а иногда осознанно, иногда неосознанно корректировалось другими мотивами. Вследствие своей трагической судьбы последний император превратился в символическую фигуру и та или иная его оценка, то или иное публично высказанное к нему отношение приобретало характер обозначения либо подтверждения определенной политической позиции.

Поэтому ко всему написанному и говорящемуся о Николае II следует подходить с большой осторожностью. Поскольку же личность царя не является для нас предметом специального изучения, мы в качестве главного источника решили использовать мемуары С.Ю. Витте - человека, который, быть может, во-первых, был одним из наиболее аналитически мыслящих политических деятелей России той эпохи, во-вторых, в течение долгих лет находился в самом средоточии политической и правительственной жизни страны, наконец, он прекрасно знал Николая лично, постоянно общался с ним, начиная с детских лет будущего императора и кончая апрелем 1906 г., когда он оставил пост премьер-министра в первом "послеоктябрьском" правительстве царя. Мемуары же свои (кстати говоря, представляющиеся, пожалуй, едва ли не самым ценным историческим документом, отражающим жизнь

официальной России периода двух последних царствований) он доводит вплоть до 1912 г. Пожалуй, все, за исключением крайних монархистов типа атамана войска Донского генерала Н.Н. Краснова 2), сходятся во мнении, что Николай по своим личностным качествам был непригоден для врученной ему судьбой роли. Одни считают, что он был для нее “слишком хорош”, будучи “не от мира сего”, другие исходят из иных, в том числе прямо противоположных, посылок, но в выводе все едины: на троне сидел человек, который в данных исторических условиях явно не мог управлять страной. Давно миновали времена, когда это можно было вполне успешно делать в промежутках между бесконечными церемониальными процедурами, как это происходило до Петра, либо в моменты редких просветлений от беспробудного пьянства, подобно петровской державной дочери Елизавете. Ныне от властителя, даже самого что ни на есть самодержавного, требовались незаурядный ум, наличие твердой политической программы, умение ее последовательно реализовывать, способность подбирать талантливых людей и направлять их деятельность, готовность прислушиваться к голосу общественного мнения, умение ладить с обществом, сотрудничать с ним и многое, многое другое.

Ничем этим Николай не обладал. При всей его неплохой образованности и видимой доброте он был слабым, безответственным и беспринципным человеком. К тому же он был катастрофически подвержен внушению и всяческим другим влияниям, чем постоянно пользовались всевозможные манипуляторы и проходимцы. Словом, он обладал слабым психологическим типом личности, складом характера, который иногда называют женским.

Вот что писал о нем С.Ю. Витте: “Мне, как участнику и близкому свидетелю всего происшедшего, ясно, как божий день, что император Николай II, вступивши на престол совсем неожиданно, представляя собою человека доброго, далеко неглупого, но неглубокого, слабовольного, в конце концов человека хорошего... не был создан, чтобы быть императором вообще, а неограниченным императором такой империи, как Россия, в особенности. Основные его качества - любезность, когда он этого хотел, хитрость и полная бесхарактерность и

слабовольность” 3). “Государь по натуре индифферент-оптимист. Такие лица ощущают чувство страха, только когда гроза перед глазами, а как только она отодвигается за ближайшую дверь, оно мигом проходит. Их чувство притуплено для явлений, происходящих на самом близком расстоянии пространства или времени” 4). В другом месте он с поразительным для уст царского сановника покровительственным пренебрежением роняет: “Бедный государь... Какой маленький - великий благочестивый самодержавнейший император Николай II” 5).

К тому же Николай был весьма склонен к политическому интриганству, постоянно вел со своими приближенными бессмысленную по сути и бездарную по исполнению двойную игру. Рассказывая о двуличном поведении царя в столь критический для Империи момент, как осень 1905 г., и в деле столь огромной важности, как подготовка Манифеста 17 октября, Витте пишет: “Такой способ ведения дел меня весьма расстроил, я увидел, что его величество даже теперь не оставил свои “византийские манеры”, что он неспособен вести дело начистоту, а все стремится ходить окольными путями, и так как он не обладает талантами ни Меттерниха, ни Талейрана, то этими обходными путями он всегда доходит до одной цели - лужи, в лучшем случае помоев, а в среднем случае до лужи крови или окрашенной кровью” 6).

Бесхарактерность и прекраснодушие вполне сочетались у Николая с жестокостью, которая, похоже, была фамильной романовской чертой. Здесь, конечно, имеется в виду не личная жестокость, а нечто другое: полнейшее равнодушие к страданиям других людей, особенно когда эти другие персонально тебе не известны и число их измеряется не единицами, а безличными статистическими показателями. Именно с таких позиций следует, очевидно, оценивать безответственную политику, приведшую Россию к стоившей ей почти полмиллиона жертв войне с Японией, события так называемого Кровавого воскресенья, направление уже в самом конце первой русской революции карательных экспедиций в различные районы страны, которые не столько боролись с почти утихнувшими к тому времени волнениями, сколько проводили террористическую тактику сплошного возмездия и превентивного устрашения (против чего Витте, кстати сказать, резко возражал), и



многое другое. Витте приводит целый ряд примеров того, как Николай брал под защиту своих эмиссаров, проявивших излишнюю и бессмысленную жестокость, а порой даже прямо одобрял ее. Очевидно, он принимал ее за твердость и решительность, что часто случается со слабыми людьми. Завершая характеристику личности Николая, отметим и такую его черту, как явно выраженный шовинизм. Эта особенность человека говорит о многом. Исторически в ее основе лежит рассматривавшееся в начале работы извечное противопоставление “своих” и “чужих”. Однако в условиях нового времени, с развитием многообразных связей между людьми различных национальностей и рас, примитивная, основанная на незнании и страхе защитная реакция отторжения всего чужеродного перестает быть ведущим мотивом шовинистического поведения. Взамен нее ту же функцию начинает выполнять **психологический комплекс неполноценности, когда подсознательное ощущение собственной ущербности восполняется агрессивным самоутверждением** посредством любых доступных форм третирования тех, кто не принадлежит к твоей общности. Моральным же оправданием для такого рода третирования в свою очередь служит приписывание избранным в качестве мишени “чужим” каких-либо недостатков или коварных умыслов. В России наиболее удобным объектом для подобного компенсаторного восполнения являются, как известно, евреи.

Так вот, Николай II был совершенно явным антисемитом. В этом он даже превзошел своего отца, который, как известно, по крайней мере в основном, осуществлял свою националистическую, и в частности антиеврейскую, политику в форме законодательных ограничений. Николай же пошел дальше, он опустил до оказания покровительства таким террористическим организациям, как пресловутый “Союз русского народа”, и потворства погромам, о чем ниже будет сказано специально. Шовинизм Николая обнаруживал себя не только в отношении евреев. Известно его высокомерно-презрительное отношение к японцам, которых он в частных беседах называл не иначе как макаками, что, кстати, сыграло трагическую роль, приведя к явной

недооценке Японии как военного противника. Более того, слывший англоманом Николай полагал обострение политических взаимоотношений с Соединенным королевством вполне достаточным основанием для презрительных выпадов в адрес английского народа. Вот что, например, пишет Витте о периоде второй половины 1900-х годов: “Должен сказать, что в это время отношения наши с Англией были таковы, что его величество относился к англичанам весьма недружелюбно: так, мне неоднократно приходилось слышать выражения, при которых между жидами и англичанами и англичанами и жидами не делалось никакой разницы” 7). А назвать кого-либо жидом было в устах императора проявлением высшей степени презрения и неприязни.

Однако мы считаем необходимым особо подчеркнуть, что, несмотря на все свои отрицательные качества, которые трагическим образом проявлялись на общественном поприще и делали Николая малопригодным для роли правителя государства, в личном плане он был человеком незаурядных достоинств и душевных свойств. Известно, например, что в непосредственных отношениях с людьми он проявлял исключительную доброту, мягкость и порядочность. Удивительно преданно и трогательно выглядит Николай в семейной жизни - сфере, ставшей объектом грязных и пошлых кривотолков. Потрясающий человеческий документ - личная переписка Николая с женой, частично изданная вскоре после революции 8). В их обращенных друг к другу и явно не предназначенных для посторонних глаз письмах поражают сила и свежесть взаимных чувств после 30 лет брака, глубокое сознание своего долга перед страной, искреннее стремление служить ей с максимальной самоотдачей и ... полное, доходящее до неправдоподобия непонимание смысла и направления развития событий. А с каким спокойным благородством вел себя царь, оказавшись с семьей в руках преступной банды! А как мужественно держал он себя в свой смертный час, под дулами торопившихся расправиться с ними трусливых подонков! Образ Николая в целом глубоко трагичен.

То же относится и к Александре Федоровне, на долю которой пришлось особенно много грязной клеветы и брани. Между тем она, несмотря на

немецкое происхождение, проявила глубокую преданность русскому народу, православию, готовность к личным жертвам во благо России (конечно, так, как она себе это представляла).

Однако мы, увы, должны оценивать такого рода людей по несколько иным критериям и с более высокой степенью строгости, нежели частных лиц. И маленькие слабости, ограниченность в понимании происходящего, вполне простительные для обычного отца семейства, будучи спроецированы на миллионы судеб, превращаются в нечто такое, к чему нельзя относиться снисходительно.

Но достаточно об августейшей семье.

Окружение Николая было в целом еще меньше, чем самодержец, пригодно для того, чтобы управлять страной. Это явилось следствием неумения царя подбирать людей, соответствующим образом их расставлять и продвигать, иными словами, проводить последовательную “кадровую политику”. К тому же он постоянно менял и тасовал большинство лиц на ключевых постах, за исключением своих фаворитов, по отношению к которым проявлялась другая черта его характера - безволие, склонность полностью попадать под чужое влияние. Становится просто не по себе, когда знакомишься с сопровождавшей большую часть его правления кадровой чехардой, с вереницей представителей тогдашней политической элиты страны - ничтожеств и карьеристов, - а также с обстоятельствами, служившими основанием для назначения и увольнения высших должностных лиц государства. Особенно тягостное впечатление производит “личный кабинет” августейших супругов. Тон в нем задавали императорская родня и невысокого пошиба мистики-шарлатаны, тем не менее он сплошь и рядом играл колоссальную роль в принятии политических решений. Причем год от года значение факторов этого рода, названных Витте “настроением православного язычества”, все возрастало. Наиболее устойчивым влиянием на императора пользовались два человека - его дядя великий князь Николай Николаевич и генерал-майор свиты Трепов.

Не вдаваясь в детали, приведем краткие их характеристики, данные хорошо знавшим обоих Витте. Об августейшем императорском

родственнике он, в частности, пишет: “Сказать, чтобы он был умалишенный - нельзя, чтобы он был ненормальный в обыкновенном смысле этого слова - тоже нельзя, но сказать, чтобы он был здравый в уме - тоже нельзя; он был тронут, как вся порода людей, занимающаяся и верующая в столоверчение и тому подобное шарлатанство. К тому же великий князь по натуре человек довольно ограниченный и малокультурный” 9); “...если бы он не был великий князь, про него говорили бы, что он “с зайчиком в голове” 10).

Трепов же, приобретший печальную славу тупого и агрессивного ретрограда-черносотенца на посту московского обер-полицмейстера, в начале 1905 г. получил полномочия фактического военного диктатора в столице. Своими крайне недалекими с точки зрения политической и жестокими с точки зрения человеческой репрессивными акциями он способствовал возникновению к осени в стране ситуации кануна революционного взрыва. Когда же его политика провалилась и под угрозой катастрофы временно возобладало умеренное крыло во главе с Витте, Трепову пришлось уйти с авансцены. Однако царь оставил его при своей особе, назначив дворцовым комендантом. В государстве, управлявшемся на полупатриархальный лад, да еще со слабовольным правителем во главе, данная позиция была исключительно удобной для постоянного воздействия на политический курс. Витте так характеризует фактический статус Трепова на этой его последней должности: “Оставив все официальные посты и в один прекрасный день переехав в апартаменты, находящиеся около покоев его величества, заняв ... в сущности, положение совершенно безответственного диктатора, рода азиатского евнуха, европейского правителя, неотлучно находящегося при его величестве, еще большее приобрел влияние, нежели то, которым он пользовался до 17 октября” 11). (О колоссальной реальной власти обладателя подобной позиции при автократическом режиме говорит, например, роль начальника личной сталинской канцелярии Поскребышева). Вот какие персонажи фактически стояли у штурвала государственного корабля.

Едва ли не единственной фигурой в правительственных кругах, которая в полной мере, независимо от политических симпатий, заслуживает

самого глубокого уважения, был С.Ю. Витте. Практически все главные достижения правительства за период царствования Николая - установление в стране твердой и надежной финансовой системы, обладавшей таким запасом прочности, что она продолжала безотказно действовать при самых острых и тяжелых политических обстоятельствах, строительство железных дорог, промышленное развитие, искусная дипломатическая игра, в результате которой в конце бездарной русско-японской войны был заключен максимально выгодный при сложившихся обстоятельствах Портсмутский мир, наконец, разработка и доведение до утверждения Манифеста 17 октября, который, по существу, открыл возможность для перехода страны к конституционному правлению, - непосредственно связаны с именем Витте. Основные идеи проводившейся впоследствии П.А. Столыпиным аграрной реформы также принадлежали ему. Если бы этот человек получил возможность более или менее продолжительное время осуществлять государственную политику в соответствии со своими представлениями, многое могло бы сложиться иначе. Но потому-то, в частности, и можно считать тогдашний романовский режим обреченным, что он был уже не в состоянии использовать умственный потенциал общества даже для собственного спасения и в тех немногих случаях, когда последний еще проявлял готовность служить правительству. Можно весьма отчетливо проследить, как дворцовая камарилья неоднократно, попав в очередной тупик, обращалась к Витте как "палочке-выручалочке", а затем, когда благодаря ему неприятности устранялись, его самыми нечистоплотными приемами отодвигали от власти да вдобавок еще пытались взвалить на него ответственность за собственные политические провалы. (В чем другом, а уж в мастерстве политического интриганства российской государственной традиции не откажешь.)

Между тем роль Витте, период активной деятельности которого на отечественной политической сцене приходится на последнее десятилетие прошлого и первые пять с половиной лет нынешнего века, по своей значительности вполне сопоставима с ролью знаменитого министра Людовика XIV Жана Батиста Кольбера, который в течение

четверти века заведовал финансами, промышленностью, торговлей, путями сообщения, флотом и колониями Франции, обеспечивая нормальное функционирование государственного механизма вопреки авантюристической и расточительной политике “короля-солнца”, и чье имя дало название целому направлению экономической политики. Увы, Витте пришел слишком поздно. Режим к тому времени уже настолько окостенел, что утратил всякую способность к совершенствованию даже под угрозой собственной гибели. Витте удалось лишь, может быть, отсрочить его крах на десятилетие (возможно, иначе все рухнуло бы еще в 1905 г.). А в том, что он сделал для своего отечества гораздо меньше, чем был способен, состоит не только личная драма его жизни. Это драма и всей нашей страны. Увы, Россия никогда не умела и до сих пор так и не научилась прислушиваться к своим истинным государственным умам, мыслителям и пророкам...

Ныне модно превозносить П.А. Столыпина, хотя он существенно уступал Витте во многом, а по отношению к зародышу российской представительной системы - Думе - даже действовал с весьма жестких консервативно-охранительных позиций. Однако проведение некоторых успешных мер, прежде всего в области аграрной политики, справедливо связывается именно с деятельностью Столыпина. Вообще вокруг его фигуры существуют два вида мифов. С одной стороны, шовинисты давно уже “оприходовали” его как лидера российского национализма. Весьма показательны в этом отношении даже названия книги, опубликованной еще в 1928 году в Харбине - “Первый русский фашист Петр Аркадьевич Столыпин” 12). С другой стороны, некоторые умеренные либералы говорят о наличии у него целостной программы либеральных реформ. Так, некто Зенковский напечатал в опубликованных им в 1938 году в Нью-Йорке мемуарах проект весьма либеральной административной и политической реформы, который Столыпин якобы продиктовал ему незадолго до своей гибели. Позднее, однако, эти мемуары были разоблачены как фальсификация. 13) Не разделяя ни один из этих противоречивых мифов, полагаю все же, что националистическая мифология имеет под собой больше оснований, нежели либеральная. Да, оценка Столыпина как “прогрессиста” в

области аграрной реформы имеет под собой серьезные основания. Его усилия в этой сфере выглядели многообещающе, в частности, и потому, что работали на разрушение патриархальщины в русской деревне. Однако они содержали и деструктивный моральный и психологический потенциал, поскольку игнорировали эту сторону дела: разрушая традиционный “мир” крестьянской общины, Столыпин не задумывался о какой-либо его замене, и потому в процессе перемещения крестьян на “свободные земли” и их освоения их мораль маргинализировалась. Что же касается его действий в других направлениях, то там никаким либерализмом и “не пахло”. Вспомним хотя бы развязанную им *post factum* кампанию жестоких массовых репрессий по отношению к лицам, подозревавшимся в участии в революционных событиях 1905 года, его поддержку шовинистических организаций, его позицию по отношению к первому российскому парламенту - Думе. Во всех этих направлениях он проводил жесткую консервативно-авторитарную линию. Да, он был неплохим оратором и обладал определенной харизмой, которой искусно пользовался. На его выступления в Думе ходили как в театр. Но в целом его политическая линия содержала в себе неустранимое противоречие. Как пишет очень авторитетный исследователь этого периода А.Я.Аврех, “Органический порок его курса, обрекавший его на неминуемый провал, состоял в том, что он хотел осуществить свои реформы вне демократии и вопреки ей. Сперва, считал он, надо обеспечить экономические условия, а потом уже осуществлять “свободы” 14). Иными словами, он пытался либерализовать экономику в рамках прежнего автократическо-бюрократического политического режима. К слову, наша последующая история вплоть до нынешних времен неоднократно демонстрировала бесперспективность подобного подхода.

Прочие политики николаевских министерств не заслуживают даже персонального упоминания в нашем беглом обзоре.

В целом политическая линия правительства Николая II характеризуется непоследовательностью, неадекватным пониманием подлинных государственных интересов, политической ситуации, задач и возможностей власти, шараханьем из одной крайности в другую с постепенным сползанием к прямо-таки иррациональному игнорированию

любых прогрессивных веяний и откровенному архиконсервативному охранительству, к тому же еще и весьма неумелому и беспомощному с организационно-функциональной точки зрения. Достигшее угрожающих размеров уже при Александре III **отчуждение компетенции от власти продолжало усиливаться**. Оно проявляло себя во все более режущих глаз безобразных формах. В сущности, в политике период правления Николая II - это эпоха не знающего пределов фаворитизма, при котором общий тон задавала бездарность, а отдельные светлые умы были крайне ограничены в своих действиях и могли лишь немного “латать дыры”, отодвигая момент крушения; эпоха отсутствия определенной политической линии, непонимания нужд страны либо близорукое пренебрежения ими. Витте так оценивает общую динамику этого периода: “В общем же направление было не в смысле прогресса, а в сторону регресса; не в сторону начал царствования императора Александра II, а в сторону начал царствования императора Александра III, выдвинутых убийством императора Александра II и смутою, начал, от которых император Александр III сам в последние годы начал постепенно отходить” 15).

Посмотрим теперь на состояние сознания других общественных групп. В целом **в среде правящих**, да и вообще образованных **классов эти изменения если и происходили, то главным образом были направлены в сторону усиления оформившихся еще в предыдущий период тенденций. Каких-либо новых веяний, которые можно рассматривать как сколько-нибудь адекватный ответ на вызов усугублявшихся обстоятельств, увы, почти не было.**

Дворянство как самостоятельная сила перестало быть существенным фактором в социальной, политической и экономической жизни страны. Те его представители, которые продолжали или намеревались играть активную социальную роль, вливались для этого в состав других, более современных общественных сил. И для немалой части дворян такого рода перемена проходила очень удачно, ибо они стартовали с весьма выгодной во многих отношениях площадки. Но историческая роль самого дворянского сословия была уже сыграна. Романовский дом



безуспешно пытался опереться на уже истлевшие от времени перила. До самого своего конца он так и не сумел осознать происшедшей исторической перемены и наладить союз с другими, в большей степени отражавшими дух времени общественными силами.

Пожалуй, наибольшие шансы обещал (монархии - на "выживание", а обществу - на плавную, лишенную катаклизмов эволюцию его политических институтов в сторону конституционного порядка) союз власти с буржуазией. Однако союзу этому так и не суждено было осуществиться, хотя определенные шаги в данном направлении и предпринимались.

Обычно всю вину за то, что подобный альянс так и не вышел за пределы самых первоначальных, неразвитых форм, возлагают на власть. Действительно, царизм, вопреки настоятельной необходимости и усилиям наиболее дальновидных правительственных сановников, вел себя в этом вопросе весьма непоследовательно и можно даже сказать «пугливо». Сделав шаг в сторону союза с буржуазией, он тут же останавливался и предпринимал меры по нейтрализации последствий сделанного. И немудрено: на протяжении всей своей многовековой истории он не приобрел опыта опоры на независимую от власти общественную силу. Он привык внутри страны иметь дело не с полноправными людьми, не говоря уже о партнерах, а с холопами, и никак не мог смириться с мыслью о необходимости пожертвовать тотальным контролем над обществом (а в последние десятилетия - иллюзией такого контроля) даже в целях собственного спасения. Эта **неспособность приспособливаться к меняющимся условиям в конечном счете и определила его историческую обреченность.**

Однако, с другой стороны, и русская буржуазия не была готова к роли полноценного партнера власти. И в предыдущем разделе, и раньше, говоря еще о петровских временах, мы видели, как формировалась русская буржуазия, как с самого своего возникновения она заняла положение еще одной бесправной служанки власти, которая обращалась с нею привычным способом чередования подачек и притеснений. Основа основ буржуазного духа - независимость и инициативность - так по-настоящему и не развилась в среде российских промышленников и

купцов. Своей опекой (к тому же по большей части весьма некомпетентной) власть выхолащивала действие главного механизма капиталистического развития - свободную конкуренцию. Мы уже обсуждали эти вопросы на конкретных примерах правительственной политики времен Александра III, и, видимо, нет смысла еще раз подробно о них говорить. Доказательством неполноценности русской буржуазии является и ее рабская покорность всячески притеснявшему ее режиму. Это особенно ярко видно при сопоставлении ее истории с историей буржуазии западноевропейских стран, которая веками несла на своих плечах основное бремя борьбы за демократический строй. В России же появление буржуазной конституционно-демократической оппозиции самодержавию, по существу, относится лишь к периоду агонии режима - его последним полутора десятилетиям, когда в сознании части российских буржуа начали происходить значительные сдвиги. Возникла даже принципиальная возможность для идейного альянса этой группы с интеллигенцией. В соответствующем месте в конце раздела названный вопрос будет освещен более подробно. Однако в целом к этим изменениям вполне применима классическая формула "слишком поздно, слишком мало". В преобладающей своей части наша буржуазия вплоть до своей гибели в революционной катастрофе оставалась на позициях традиционного системоцентризма.

Сознание русского православного духовенства также по-прежнему оставалось системоцентричным и полностью верноподданным. Более того, если в нем и наблюдались какие-нибудь перемены, то скорее в сторону регресса. Во всяком случае по сравнению с предыдущим царствованием положение не улучшалось. Это, конечно, не значит, что в стране отсутствовало богоискательское умонастроение. Наоборот. Достаточно вспомнить имена хотя бы Вл. Соловьева, Н. Бердяева, Л. Толстого. **Однако любая живая религиозная мысль развивалась как бы помимо официальной церкви и даже всячески третировалась ею. Духовная иерархия окостенела в еще большей**

**степени, чем светская власть.** Она словно не замечала происходивших вокруг изменений.

А в динамичные эпохи расплатой за подобную страусову позицию может стать, во-первых, быстрое вырождение и даже гибель самого института и, во-вторых, общее потрясение всего социума, в системе которого этот институт выполнял важные функции.

Вот что писал о вырождении православной церкви и возможных последствиях этого для России тот же С.Ю. Витте (заметьте, отнюдь не атеист): “У нас церковь обратилась в мертвое, бюрократическое учреждение, церковные служения - в службы не Богу, а земным богам, высокое православие - в православное язычество. Вот в чем заключается главная опасность для России. Мы постепенно становимся меньше христианами, нежели адепты все других религий. Мы делаемся постепенно менее всех верующими” 16). Эта мысль целиком перекликается с суждениями А. Токвиля об упадке религии во Франции XVIII в. как важнейшем факторе, определившем звериный облик “Великой” революции: “Тот факт, что все религиозные верования были совершенно дискредитированы в конце прошлого века, без всякого сомнения оказал величайшее влияние на всю нашу Революцию, он определил ее характер; ничто в большей степени не способствовало ей получить тот страшный вид, в котором она явилась миру” 17).

Формально православная церковь была идеологическим монополистом. На деле же к моменту, о котором идет речь, во всех слоях общества распространилось глубоко индифферентное отношение к церкви, а через нее и вообще к религии как к набору традиционных, малосодержательных ритуалов, соблюдение которых является необходимым, но которые, по сути, имеют очень немного общего с реальной жизнью. Короче, церковь, по смыслу своему предназначенная выполнять роль внутреннего регулятора человеческого поведения, превратилась в регулятор сугубо внешний, который к тому же реагирует только на показательные проявления благочестия и отклонения от них.

Этот дух внешнего конформизма при внутреннем безразличии очень точно передал Ф. Сологуб в описании поведения одного из персонажей романа “Мелкий бес” во время венчания: “Володин вел себя степенно и

крестился, сохраняя на лице глубокомысленное выражение. Он не связывал с церковными обрядами никакого иного представления, кроме того, что все это установлено, подлежит исполнению и что исполнение всех обрядов ведет к некоторому внутреннему удобству: сходил в праздник в церковь, помолился - и прав, нагрешил, покаялся - и опять прав. Хорошо и удобно, тем удобнее, что вне церкви обо всем церковном не надо было и думать, а руководствоваться следовало совсем иными житейскими правилами” 18).

Последствием того, что единственная массовая идеологическая доктрина утратила моральный авторитет, а место ее ничем не было замещено, стал все нараставший духовный, этический вакуум в народном сознании. Подобная ситуация страшна и чревата взрывом при всех обстоятельствах. В России же она была опасной вдвойне, ибо в стране не укоренились иные, хотя бы паллиативные культурные механизмы обуздания и смягчения инстинктов, погашения агрессивных биологических рефлексов - такие, как эстетика, уважение личности и прав другого человека, индивидуалистическая психология либо даже просто мягкость характера или всего-навсего хорошие манеры.

Неспособность православной церкви к модернизации привела ее к фактическому отчуждению от общества, к размыванию религиозной идеологии в народном сознании и как следствие этого - к нараставшему нравственному оскудению народа, к его прогрессирующей моральной безнормативности - явлению, о котором мы говорили в предыдущем разделе на материале чеховских зарисовок крестьянских нравов.

Процесс этот, естественно, затрагивал не только крестьянство, но и все слои населения. И если в более или менее образованной среде его негативное влияние хотя бы частично компенсировалось за счет действия других культурных механизмов, то в “низших” классах подобного “амортизатора” не существовало и накопление деструктивных изменений в сознании людей шло с нарастающей интенсивностью. Результаты подобного разрушения нравственной основы общественного гомеостаза в полной мере дали себя знать уже при жизни поколения, о котором сейчас идет речь.

Таким образом, то, что говорилось в предыдущем разделе о пролетариате, полностью сохраняет свое значение и для рассматриваемого периода. Добавим лишь, что в николаевское царствование пролетариат во все большей степени стал осознавать социальную мощь своей “муравьиной” организации, беспомощность властей и предпринимателей перед его, говоря словами К. Маркса, “коллективной силовой потенцией, перед лицом его даже самых деструктивных, антиобщественных действий, лишь бы они были достаточно хорошо организованы. Витте так объясняет пресловутую мощь пролетариата: “Сила эта основана и на численности, и на малокультурности, а в особенности на том, что ему терять нечего. Он, как только подошел к пирогу, начал реветь как зверь, который не остановится, чтобы проглотить все, что не его породы” 19).

К 1905 г. этот исторический “новобранец” армии системоцентризма уже достаточно окреп и освоился, чтобы дать почувствовать как свои возможности, так и направление, в котором он намерен действовать на исторической сцене. Но самая громкая его роль была еще впереди.

О деструктивных процессах, происходивших в эту эпоху в сознании крестьянства, также говорилось в предыдущем разделе. Поэтому здесь представляется необходимым и достаточным лишь дополнить уже сказанное анализом некоторых новых обстоятельств.

В царствование Николая II для сознания образованной части общества становилось все более очевидным, что **крестьянская община** является главным тормозом экономического и социального развития **российской деревни**. Прошла свой пик идеология умилительной идеализации русской патриархальщины и ее символа - сельской общины, когда традиционные основы крестьянского быта не только были аргументом в устах консерваторов-славянофилов, якобы свидетельствующим о здоровых корнях отечественной цивилизации, но также и источником вдохновения для социалистов, искавших в крестьянской общине прообраз будущего идеального социального устройства. Специально занимавшийся в определенный период своей деятельности крестьянским вопросом Витте писал: “Общинное владение есть стадия

только известного момента жития народов, с развитием культуры и государственности оно неизбежно должно переходить в индивидуализм - в индивидуальную собственность; если же этот процесс задерживается, и в особенности искусственно, как это было у нас, то народ и государство хиреют". 20) В другом месте Витте крайне отрицательно характеризует общину уже с точки зрения ее воздействия на общественную мораль: "В сущности, это есть ответственность исправных за неисправных, работающих за лентяев, трезвых за пьяных, одним словом, величайшая несправедливость, деморализация населения и уничтожение в корне понятия о праве и гражданской ответственности" 21).

Однако с полицейской и фискальной точек зрения, т.е. в тех аспектах, которым власть в России всегда уделяла максимальное внимание, община была весьма удобным объектом управления, ибо "легче пасти стадо, нежели каждого члена стада в отдельности" 22). Таким образом, с определенных позиций сохранение общины вполне устраивало правящий слой. Любопытно также, что в свете данного обстоятельства начинают просматриваться гораздо более практические основания для обращенного в прошлое славянофильского пафоса, нежели бескорыстная романтизация "святой старины".

Тем не менее, вопреки подобного рода "государственно-пастушеским" соображениям, процесс постепенного разрушения общины продолжался, а после 1905 г. даже ускорился. Справедливость требует еще раз подчеркнуть, что немалая заслуга в его интенсификации и регулировании принадлежит П.А. Столыпину в годы его премьерства (1906-1911).

Но в целом политика правительства Николая в данном вопросе (как, впрочем, и во многих других) была весьма непоследовательной, постоянно колебалась между различными крайностями в попытках примирить и совместить такие объективно несовместимые вещи, как рабская покорность и хозяйственная активность, нерассуждающее повиновение властям и инициативность. Подобная непоследовательность способствовала тому, что процесс разрушения общины шел крайне дисгармонично: экономические связи общины

распадались, а общинная мораль еще в значительной мере сохранялась. Крестьянин становился маргинальной личностью: в экономическом плане он сплошь и рядом был уже индивидуалистом, в психологическом оставался общинником.

Разрыв этот оказывал неблагоприятное влияние на обе сферы. В частности, устои общинной морали постепенно слабели, подчинение ее нормам уже не казалось столь обязательным, как раньше. Выработка же новых норм только-только начиналась и уж во всяком случае явно отставала от процесса деградации традиционных моральных императивов. Очевидно, со временем разрыв был бы преодолен за счет усвоения крестьянским сознанием нового, более отвечающего духу современной жизни, условиям экономических отношений кодекса этических норм. Но все это относится уже к области гипотез. Факт же таков: совокупное воздействие целого ряда факторов привело к тому, что **в первые десятилетия XX в. русский крестьянин оказался в промежуточной, безнормативной зоне, в которой воздействие прежних регуляторов ослабло, а новые еще не возникли.**

Итак, **бездарная реакционность власти и социальная безответственность привилегированных слоев дополнялись прогрессирующей безнормативностью низших классов.** Все это усугублялось **удручающей бездуховностью и психологической инертностью российского обывателя,** что, впрочем, не мешает ему становиться весьма агрессивным, когда он чувствует угрозу своему покою или положению. А в воздухе, как вы помните, носилось предощущение грядущей катастрофы.

Собранные вместе перечисленные факторы создавали почву для развития одного из самых зловещих видов **социального невротизма,** суть которого состоит в том, что люди компенсируют ощущаемую ими ущербность своего бытия и собственную неполноценность посредством направленных на все вокруг агрессивных, разрушительных импульсов, посредством иррациональной ненависти ко всему живому в окружающем мире, стремления как-нибудь его унижить, испакостить, а в конечном счете умертвить, что, однако, вполне совмещается с полным

конформизмом по отношению ко всякого рода “начальству”. Несколько десятилетиями позднее этот синдром стал психологической пружиной массового разгула фашистской идеологии. Э. Фромм, который наблюдал его разрушительное, деморализующее воздействие на общественное сознание Германии, впоследствии описал его через заимствованный из психопатологии термин “некрофилия”. Однако еще в 1902 г. в литературе появилось поразительное по безжалостной точности и эмоциональной емкости художественное описание синдрома социального некрофильства и среды его обитания:

“На другой день Передонов пошел к прокурору Авиновицкому. Опять была пасмурная погода. Ветер налетал с перерывами и нес по улице пыльные вихри. Близился вечер, и все освещено было просеянным сквозь облачный туман, печальным, как бы не солнечным светом. Тоскою веяло затишье на улицах, и казалось, что ни к чему возникли эти жалкие здания, безнадежно-обветшалые, робко намекающие на таящуюся в их стенах нищую и скучную жизнь. Люди попадались, - и шли они медленно, словно ничто ни к чему их не понуждало, словно едва одолевали они клонящую их к успокоению дремоту. Только дети, вечные, неустанные сосуды божьей радости над землею, были живы и бежали, и играли, а но уже и на них налегла косность, и какое-то безликое и незримое чудище, угнездясь за их плечами, заглядывало порою глазами, полными угроз, на их внезапно тупеющие лица.

Среди этого томления на улицах и в домах, под этим отчуждением с неба, по нечистой и бессильной земле, шел Передонов и томился неясными страхами - и не было для него утешения в возвышенном и отрады в земном, - потому что и теперь, как всегда, смотрел он на мир мертвенными глазами, как некий демон, томящийся в мрачном одиночестве страхом и тоскою.

Его чувства были тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом. Все доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь. В предметах ему бросались в глаза неисправности и радовали его. Когда он проходил мимо прямостоящего



и чистого столба, ему хотелось покривить его или испакостить. Он смеялся от радости, когда при нем что-нибудь пачкали” 23).

Атмосфера тогдашней казенной России, видимо, весьма способствовала развитию “передоновщины”. Невероятно, но передоновы стали одной из опор режима. (Впрочем, к услугам передоновых широко прибегала и советская власть как в период революции, так и позднее, когда передоновы получили широчайшее поле деятельности в “особых отделах” и вообще в системе “архипелага”).)

Инстинктивно, не понимая смысла данного явления, режим, однако, почувствовал тягу к подобного рода типам, что, естественно, не замедлило сказаться на характере проводимой им политики. Конечно, не на одних передоновых ставил режим, и даже не на них в первую очередь. Но на деле **его социальная база все более суживалась**.

Принятое Александром III решение о блоке власти с консервативно-охранительными силами общества и об отказе от сотрудничества со сторонниками перемен продолжало играть определяющую роль во внутренней политике Империи. Огонь по зажженному тогда бикфордову шнуру неотвратно приближался к пороховой бочке. Несмотря на все шатания Николая II, генеральная ориентация на союз с консерваторами преобладала по-прежнему. Губительность подобного курса усугублялась тем, что сама консервативная идеология, не имея необходимости отстаивать свои принципы в открытой полемике, а также каких-либо других побудительных причин для модернизации, для самосовершенствования, постепенно все более деградировала. Следовательно, тому, кто во главу угла своей политики поставил альянс с консерваторами, неизбежно приходилось солидаризироваться со все более ретроградными и интеллектуально убогими элементами общественной жизни. Если немногими десятилетиями ранее власть опиралась на “просвещенных консерваторов”, что, по крайней мере, придавало их союзу более или менее респектабельный облик, то в XX в. подобной возможности уже не существовало. Просвещенный консерватизм попросту перестал существовать как серьезная и сколько-нибудь влиятельная социальная сила. И власти ничего не оставалось делать, кроме как броситься в

объятия консерватизма некультурного, полуграмотного, а в крайних своих проявлениях - почти животво-биологического. Словом, **неумолимая логика развития событий подвела режим к необходимости сделать ставку на союз с самыми отсталыми социальными силами, на эксплуатацию самых темных и низменных качеств своих подданных.**

В первую очередь это, конечно, проявилось в области национальной политики, которую Витте очень емко определил одним словом - как "охотнорядскую", в альянсе с так называемыми истинно русскими людьми, на деле представлявшими собой интеллектуальное и моральное отребье общества, пытавшееся (и не без успеха) манипулировать заряженной ксенофобскими импульсами толпой. Подобный курс имел, однако, и не учтенные властью, прямо противоположные ее намерениям последствия. Ведь одной крайности неизбежно сопутствовала другая: **ориентация на экстремиство-охранителей способствовала активизации экстремиство-разрушителей.**

Объяснение этого феномена представляется двояким: во-первых, названные крайности по своему социально-психологическому механизму совершенно однотипны и легко переходят одна в другую, во-вторых, безнаказанные насильственные действия властей и поддерживаемых ими "правых", естественно, порождали соответствующее противодействие "левых". Л.Н. Толстой в последний год своей жизни писал, что царское правительство своей близорукой карательной политикой периода столыпинщины само воспитывает и поддерживает в народе пугачевские начала, что в России уже сложились когорты вандалов, готовых при удобном случае опрокинуть и растоптать существующую цивилизацию 24).

Подобные мысли высказывал тогда не только Толстой, но и ряд других людей, с большей или меньшей ясностью видевших, куда ведет страну курс, избранный властью. Вспомним хотя бы веховцев. Но куда там!

Наиболее массовой и заметной формой ксенофобского охранительного экстремизма был антисемитизм, существенно активизировавшийся

именно в царствование Николая, а особенно в первое десятилетие нового века. В те годы разгул низменных юдофобских страстей неоднократно достигал той степени интенсивности, при которой активизируются самые жестокие стереотипы стадной психологии и становятся возможными ее самые страшные массовидные проявления. Их зловещей кульминацией являются погромы - воплощенное торжество всего самого худшего, что только есть в сознании человеческой стаи, а в социально-этическом плане - агрессивный системоцентризм, доведенный до своих крайних, последних пределов.

Описание одного из таких погромов, происшедшего весной 1903 г. в Кишиневе, оставил нам В.Г. Короленко. Благодаря соединению документальной достоверности описания с художественным мастерством и подлинной душевной болью автора этот небольшой очерк (25) оставляет впечатление, которое по силе воздействия может быть поставлено в один ряд с таким апокалиптическим полотном, как "Герника" Пикассо. Нисколько не претендуя на научный анализ, скупыми журналистскими штрихами Короленко тонко и точно рисует картину нарастающего озверения толпы и ее последующего поведения в состоянии низменного экстаза, когда временно прекращается действие моральных ограничителей, других сдерживающих культурных механизмов и единственной детерминантой поведения становится желание не отстать от других в проявлениях жестокости, а в идеале и как можно больше отличиться в ней (чего стоит хотя бы "изобретательность" мальчика, выбивающего единственный глаз своему соседу, немолодому человеку, которого он, может быть, знал с собственного рождения, подвешенной на веревке весомой гирей!). Эту жестокость прекраснодушные люди по бессознательной склонности к самооблагораживанию обычно называют животной. Но на самом деле она, похоже, органически присуща именно человеку на определенных ступенях его культурного развития, когда для того, чтобы ее активизировать, бывает достаточно небольшого ситуационного толчка. Весьма показательно, что кишиневский погром начался в первый день Пасхи - величайшего праздника всеобщего прощения, тождества добра и

любви. Думается, что этот факт красноречивее много другого показывает подлинную цену риторики о наличии “твердых христианских принципов” в нашем национальном сознании.

Да, действительно, далеко не все “христианнейшие” жители Кишинева громили еврейские дома и убивали обезумевших от ужаса, метавшихся, подобно загнанным животным, внутри неумолимого кольца ненависти и улюлюканья евреев. Однако для того, чтобы эти ужасы стали возможными, было необходимо существование общей атмосферы широкой моральной поддержки громил, порождавшей у них чувство безнаказанности и даже “социальной полезности” совершаемых ими действий. Позицию молчаливого поощрения погромов заняла и власть, представители которой в лице полиции и войск в течение нескольких дней спокойно наблюдали за развитием событий, ожидая какого-то специального “приказа” о вмешательстве. Приказ же поступил только тогда, когда в каких-то инстанциях, очевидно, было решено, что “на сей раз хватит”, что “христиане” уже достаточно выпустили пары, а иудеев “приструнили” надолго. И в мгновение ока, без единого выстрела, в только что, казалось бы, до предела разбушевавшемся городе воцарилось спокойствие. Это ли не свидетельство существования явной моральной санкции на погром “сверху”? И действительно, впоследствии стало известно, что к организации кишиневского погрома приложил руку не кто иной, как сам министр внутренних дел Империи Плеве!

О моральном единстве власти и погромщиков свидетельствуют и записки В.В. Шульгина. Осенью 1905 г. он был призван из запаса в армию в качестве младшего офицера. В дни октябрьских погромов в Киеве он командовал взводом, перед которым была поставлена задача гасить погромы, однако соблюдая при этом “нейтралитет”, и, спасая евреев, держаться так, чтобы русское население не имело бы поводов выдумывать всякие гадости вроде: “Жиды купили офицеров” 26). Иными словами, войскам было приказано быть нейтральной стороной между бандитами и их жертвами и лишь не допускать наиболее варварских проявлений организованного бандитизма. Однако он не скрывает своей духовной, идейной близости и даже симпатии к этим “истинно русским” людям, не стесняется называть их “нашими”, а в момент, когда

появились нелепые (как потом выяснилось, совершенно безосновательные) слухи о “десяти тысячах вооруженных евреев”, готовящихся напасть на город, по существу, братается с бандитами. Более того, он проявляет переходящую все пределы снисходительность к своим занимающимся мародерством солдатам. С евреями же он держит себя в лучшем случае покровительственно-презрительно. И это было общим настроением власть имущих! Даже Витте не всегда был от него свободен. Что уж тут говорить о рядовых солдатах и полицейских, плоть от плоти погромных толп и к тому же прекрасно чувствовавших двуличность позиции своих командиров!..

Впрочем, Витте приводит данные и о прямом участии властей в организации погромов. Став председателем Совета министров, он обнаружил, “что при департаменте полиции имеется особый отдел, который фабрикует всякие провокаторские прокламации, особливо же погромного содержания, направленные против евреев, что этим отделом заведует ротмистр Комиссаров и что прокламации эти массами посылаются в провинцию, еще на днях тук послан в Курск, другой в Вильну, а самый большой в Москву” 27). Затем, когда в декабре 1905 г. произошел жестокий погром в Гомеле, по инициативе Витте было назначено расследование его обстоятельств. “Расследованием этим неопровержимо было установлено, что весь погром был самым деятельным образом организован агентами полиции под руководством местного жандармского офицера графа Подгоричани, который это и не отрицал” 28). Весьма симптоматично окончание всего дела. Николай на представленном ему в данной связи докладе с видимым неудовольствием наложил резолюцию: “Какое мне до этого дело? Вопрос о дальнейшем направлении дела графа Подгоричани подлежит ведению министра внутренних дел”. Очевидно, не без высочайшего изволения были приняты меры, чтобы замять следствие, и несколько месяцев спустя гомельский мафиози занял пост полицмейстера в одном из черноморских городов.

Высочайшее “жидоедство” нашло проявление и в полугласном инспирировании и направлении деятельности пресловутого “Союза русского народа”, о статусе которого в премьерство Столыпина Витте

пишет: “Союз” этот, между прочим, составленный из простых воров и хулиганов, получил в его управление большую силу, так как правительство и органы правительства его всячески поддерживали не только материально, но и посредством полицейской силы” 29). Одной рукой даровав Манифест 17 октября, власть другой рукой организовывала охранительный террор, который осуществлялся “представителями народа” и главной приманкой в котором были евреи и их скарб. В итоге в течение второй половины октября погромы прошли более чем в ста городах. Было убито около 4000 человек, ранено и изувечено свыше 10 000. В одной Одессе погромщики убили более 1000 человек.

Впрочем, “охотнорядская” политика власти была не только по евреям. Вообще великорусский шовинизм, который по своему политическому смыслу есть не что иное, как инструмент “культурного освоения” уже захваченных посредством империалистической политики территорий, заслуживает специального обстоятельного исследования. Но в нашу задачу это в данный момент не входит. Поэтому не будем долее задерживаться на фактической стороне событий. Укажем лишь, что в царствование Николая положение дел в данном вопросе не стало лучше и распространилось на все коренные национальности, оказавшиеся под суверенитетом романовского дома, независимо от их этнического происхождения и культурного уровня, - от поляков до сахалинских гиляков. Чего стоит, например, рассказ того же Короленко о так называемом мултанском деле, в ходе которого семеро вотяков - представителей коренного населения Вятской губернии - были обвинены явно предвзятыми следствием и судом в садистском убийстве русского крестьянина с целью совершения языческого каннибалистского ритуала. В своем очерке 30) Короленко писал, что данный судебный приговор есть приговор над целой народностью, состоящей из нескольких сотен тысяч людей, живущих в Вятском крае, бок о бок с русским народом. Благодаря активности писателя данное дело получило огласку и было в конце концов пересмотрено, а несправедливый приговор несчастным вотякам отменен.

Короленко нашел своих Дрейфуса и Бейлиса среди этнической группы, за которую в России до тех пор никто не заступался и которая нигде не имела покровителей. Тем больше нравственное значение его действий, привлекая внимание общественного мнения к судьбе людей, о которых вообще мало кто знал, заставивших русских почувствовать общечеловеческий смысл готовившейся расправы с мултанскими “недочеловеками”. Но многим ли могли помочь немногочисленные поднявшиеся над стадным шовинизмом интеллигенты? Ведь разного рода репрессии против “инородцев” носили всеобщий характер.

Но есть и другая сторона дела. Гонения на инородцев порождали ответную реакцию, вызывая к жизни защитный экстремизм преследуемых национальных меньшинств. Революционные настроения подогревались, таким образом, не только социальными конфликтами, но и национальным антагонизмом. Не случайно в царствование Николая среди членов различного рода антиправительственных организаций представители угнетаемых национальностей стали занимать все более заметное место. Особенно велика была активность евреев, вклад которых в революционное движение в десятки раз превышал их долю в населении Империи. И потому Шульгин, убежденный черносотенец, но не лишенный острой наблюдательности, практически прав, отмечая чрезвычайную активность и “вызывающее поведение” киевских евреев в октябре 1905 г. Да и как могло быть иначе? Ведь стала давать трещину система, которая многие десятилетия постоянно унижала и ограничивала их.

Конечно, в радикальном противостоянии режиму Николая II велика роль и других меньшинств - поляков, латышей, представителей кавказских народностей... И, само собой разумеется, одно из ведущих мест в движении занимали великороссы. Однако обывательская трактовка революции как “еврейского дела”, пусть в искажающей и примитивной форме, все же отражает некоторые реальные исторические обстоятельства, в первую очередь роль евреев в становлении и победе в России идеологии революционного радикализма.

**Государственный антисемитизм последних императоров воспитал поколение “мстителей”, поколение еврейских**

**“реваншистов”**. Впрочем, следует воздать должное политической мудрости еврейства, ибо пропорционально большая его часть в рамках этого общего “реваншистского” направления избрала относительно умеренные формы. Скажем, наиболее существенным был удельный вес евреев не среди членов террористической партии эсеров, а среди склонных к мирным формам захвата власти меньшевиков. Однако когда сработала “адская машина” революционного взрыва, решающую роль сыграли не различия в нюансах идеологии, а совсем иные факторы и “умеренные” революционеры были сметены накатившей волной. Но это все произошло позже. Пока же отметим, что своей антигуманной и близорукой шовинистической политикой власть сама готовила своих будущих палачей.

Нельзя сказать, что никто из авторитетных фигур тогдашней России не предвидел последствий, к которым вел принятый обеими противоборствующими сторонами курс на обострение конфронтации, на подавление оппонентов. Об угрозе серьезнейших катаклизмов в близком будущем говорили и Витте, и веховцы, и видные представители мира художественной культуры. Одни больше апеллировали к властям, другие - к разуму радикалов. Однако предупреждения игнорировались обеими сторонами. Умеренные и гибкие доводы либералов разбивались, с одной стороны, об ограниченную, но по своему последовательную и потому несокрушимую логику террористов и прочих радикалов, с другой - о фельдфебельскую логику власти. А страна тем временем сползала к пропасти...

При всем моей любви к “истории в сослагательном наклонении” в данном случае я не вижу серьезных оснований для того, чтобы рассуждать о том, что случилось бы, если бы те или иные обстоятельства направили развитие страны по другому руслу, чтобы говорить об историческом несбывшемся. После событий 1881 г. и особенно в период николаевского царствования, реальных альтернатив для развития событий, на наш взгляд, больше не существовало. Как уже говорилось, перекресток остался позади. Вся совокупность объективных обстоятельств воздействовала на ход событий таким образом, что избежать крушения было уже вряд ли возможно.



Однако тут судьба проявила к режиму своего рода “предупредительность” и провела нечто наподобие репетиции того, что его ожидает в будущем. 1905 год предоставил власти дополнительный шанс не для спасения ее как таковой, нет, а для того, чтобы она могла показать, способна ли она хотя бы потенциально совершить что-либо существенное в плане модернизации структуры общественных отношений, обеспечить более или менее плавное изменение общественных институтов и тем самым смягчить социальные последствия надвигавшегося всеобщего кризиса системы. И власть не выдержала этого последнего экзамена.

Во-первых, беспрецедентной по легкомыслию и бездарности русско-японской войной власть сама бросила искру в атмосферу, насыщенную взрывчатыми парами радикальных идей и других революционных предпосылок. Во-вторых, в течение почти целого года постепенного нарастания массовых оппозиционных выступлений она не смогла выработать сколько-нибудь последовательной тактики реагирования на них, кидаясь из одной крайности - “держать и не пущать”, - которую олицетворяло, пожалуй, самое могущественное в тот момент лицо в России - генерал-майор Трепов, в другую (что проявилось, например, в никак не связанном с другими политическими шагами правительства предоставлении автономии университетам и превращении их тем самым в изолированный анклав свободы слова и, следовательно, революционной агитации). Наконец, в-третьих, о том же говорит и непоследовательная, двуличная тактика власти после октября 1905 г.

Вплоть до этого момента власть словно нарочно делала все, чтобы обострить и без того накаленную обстановку, усугубить положение. Затем она, казалось бы, осознала гибельность подобной линии поведения и пересмотрела свою политику. Были предприняты серьезные шаги по модернизации системы управления государством, по приведению ее в большее соответствие с требованиями времени и общественными ожиданиями. В испокон веку самодержавной стране были провозглашены основные начала политических свобод. Многие советские историки по причинам, далеким от интересов науки, всячески преуменьшали значение Манифеста 17 октября и опубликованного в

качестве приложения к нему доклада Витте. Но на деле это было беспрецедентным фактом во всей российской истории.

Вот выдержки из Манифеста: “На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав... 3) Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей...” 31)

Оба документа стали принципиально новым словом в политической истории России. Однако заложенному в них потенциалу не суждено было реализоваться в истории социальной. Во-первых, власть уже упустила время для того, чтобы ее частичный и почетный отказ от своих прерогатив мог успокоить задававших тон в общественном брожении радикалов. С этой точки зрения Манифест должен был прозвучать примерно двумя десятилетиями раньше. Никакой закон не в состоянии сразу изменить настроение и условия жизни общества, тем более когда оно уже набрало значительную инерцию движения в ином направлении. К тому же, помимо всего прочего, общество перестало верить власти. Оно накопило достаточно оснований для недоверия и получало все новые подтверждения этому.

Второй (и, наверное, главной) причиной провала попытки конституционного успокоения революционного экстремизма стало то, что власть, оказываясь, и не собиралась двигаться по провозглашенному ею пути, честно выполнять принятые ею на себя обязательства. Оправившись от шока, расколов оппозицию и выиграв время, она перешла в контрнаступление. Умеренный Витте, в апогее кризиса назначенный на пост председателя нового органа - Совета

министров, выполнив роль буфера и символа “нового курса” и получив в Европе колоссальный заем, был уволен через полгода после назначения. Первая Государственная дума, открытие которой было обставлено как начало новой эры, работала всего лишь два месяца и была распущена по первому поводу, вызвавшему неудовольствие власти. Немногим более четырех месяцев просуществовала и II Дума, которую разогнали уже по явно инспирированному поводу. Вскоре после этого был принят новый избирательный закон, полностью перечеркнувший принцип равного народного представительства. Власть оказалась не в состоянии примириться с существованием учреждения, которое имеет и высказывает отличное от нее мнение. Идея, высказанная А. Токвилем полувеком ранее, - “...свободные учреждения так же необходимы высшим классам для того, чтобы они могли видеть грозящие им опасности, как и низшим - для обеспечения их прав” 32) - оказалась слишком сложной для восприятия ее носителями высшей политической власти в России.

Но дело отнюдь не ограничилось вытеснением либералов (т.е. Витте и его “команды”) из правительства и стерилизацией представительного органа, т.е. действиями в верхнем ярусе политической системы.

Укрепив свое положение, власть направила удары “вниз”, обрушив на страну целую серию репрессий, причем репрессии эти в отличие от предыдущих периодов ударили не по сотням или даже тысячам, а по десяткам тысяч людей. В районах волнений свирепствовали карательные экспедиции, деятельность которых не ограничивалась подавлением беспорядков, а явно преследовала цели возмездия и превентивного устрашения на будущее. Гонениям подверглись университеты, другие учебные заведения. Грубо нарушался и принцип свободы печати, причем удары сыпались не только на радикальные, но и на самые умереннолиберальные издания. О массированных атаках на еврейство мы уже говорили.

Такой политический курс, предпринимаемые меры при всей их кажущейся сиюминутной действенности были абсолютно неэффективными с точки зрения даже близкой перспективы. Проблемы страны не только не решались, но, напротив, под давлением загонялись

внутри и так уже перегретого котла. Создается впечатление, что даже ближайшее будущее страны мало интересовало власть. Подобная позиция обычно присуща геронтократам - старикам у власти. Однако в данном случае ее трудно объяснить возрастом, поскольку Николай в тот момент еще не достиг сорока лет. В результате все более или менее мыслящие и хоть сколько-нибудь прогрессивные силы страны теперь уже окончательно отвернулись от власти и заняли по отношению к ней позицию между недружелюбной индифферентностью и открытой враждебностью. Таким образом, власть сама изолировала себя от общества и настроила против себя общественное мнение как внутри страны, так и за ее пределами.

И прежде не только левые круги, но и умеренные правительства западных стран не питали особой симпатии к русскому царизму за его деспотизм внутри страны и агрессивность вовне. Господствовавший в России дух воинствующего системоцентризма уже давно был чужд и неприятен европейцам. Соглашения Запада с Россией всегда носили характер брака по расчету в чистом виде. Теперь же и соображения выгоды не всегда могли перевесить антипатию к жестокому и лицемерному режиму. К тому же основательно потрепанная Японией Российская империя перестала быть особо привлекательным партнером и с прагматической точки зрения. Запад тоже ощущал, что существовавшее в России положение не может долго оставаться неизменным. (Впрочем, это, кажется, ощущали все, кроме русского правительства.) Наглядным примером того, как Россия лишалась выгодных внешних связей вследствие своего реакционного упрямства и как Запад в отношениях с нею порой приносил собственные меркантильные интересы в жертву соображениям нравственного порядка, может служить денонсация США в 1911 г. русско-американского торгового договора, который до того действовал около 80 лет. Причиной расторжения договора послужило столь же упорное, сколь и нелепое нежелание российского правительства отменить абсолютно средневековые по своему духу ограничения на въезд в Россию и пребывание в ней американцев иудейского вероисповедания. Так

еврейский вопрос в первый раз лишил Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговых отношениях с Америкой.

В целом события 1905 и последующих годов лишней раз продемонстрировали неспособность власти в России делать выводы из уроков истории, предвидеть события и руководить ими. За счет грубых репрессий и политического шулерства она выиграла ряд отдельных баталий, но при этом окончательно был поставлен крест на судьбе всей кампании. Дополнительный, “сверхпрограммный” шанс был упущен, как и все предыдущие.

В данном разделе нам осталось рассмотреть один, но, пожалуй, самый главный вопрос - **общественную позицию и социальное умонастроение русской интеллигенции**. Исключительность влияния, которое этот фактор оказывал на судьбы тогдашней России, объясняется тем обстоятельством, что население страны в значительной своей части было еще безграмотным и уж во всяком случае не доросло до того, чтобы суметь сформировать собственную сколько-нибудь внятную социальную идеологию. С другой стороны, интеллигенция, вопреки желаниям власти, тогда не только не была ее “ученым приказчиком”, но, напротив, подчеркнуто сохраняла по отношению к ней определенную дистанцию и независимость суждений. Более того, как мы знаем, интеллигенция в России с самого своего возникновения заняла по отношению к власти недвусмысленно негативную позицию и, несмотря на определенную эволюцию этой позиции, в рассматриваемый период уже передала эстафету данной традиции своему четвертому поколению. Таким образом, интеллигенция была в России единственным источником и носителем оппозиционной идеологии.

Однако самодержавие в этом вопросе (впрочем, равно как и во многих других) проявляло поразительную тупоголовость, неспособность к пониманию реального положения. Оно никак не могло примириться с тем фактом, что интеллигенция представляет в структуре русского общества серьезную самостоятельную силу, с которой просто нельзя не считаться. Вместо того чтобы попытаться поискать возможность для

сотрудничества с этой силой, как-то привлечь ее к конструктивной работе по решению общегосударственных проблем, власть в своих отношениях с интеллигенцией заняла позицию самодура, который не желает видеть и слышать что-либо не угодное ему, а в противном случае закрывает глаза и уши, начинает топтать ногами и выкрикивать нечленораздельные угрозы в адрес не потравившего ему лица.

Эта чудовищная, фантастическая по своей нелепости позиция власти с почти басенной образностью выражена в рассказе князя Мирского об одной беседе с Николаем II. Во время поездки государя по западным губерниям страны “раз за столом кто-то произнес слово “интеллигент”, на что государь заметил: “Как мне противно это слово, - добавив, вероятно, саркастически, что следует приказать академии наук вычеркнуть это слово из русского словаря” 33). Комментарии, очевидно, излишни.

Но независимо от эмоций и желаний августейших особ именно мнение интеллигенции в решающей степени повлияло на возникновение той атмосферы общественной отчужденности, которая сложилась вокруг власти в последнее царствование романовского дома. Конечно, курс на отчуждение от передовых веяний века, на блок с консервативными, ретроградными силами объективно был избран самой властью еще в предыдущее царствование. Но разъяснение реального смысла этого курса и его направленности, превращение его в факт общественного сознания, вынесение ему морального приговора, т.е. **“оформление” моральной изоляции власти от общества, - все это было делом рук интеллигенции.**

Важно отметить, что в выполнении названного дела принимали самое непосредственное участие оба крыла интеллигенции - и радикалы-системоцентристы, и умеренные персоноцентристы, хотя каждое из них, естественно, решало эту задачу по-своему. Поскольку же в основных мировоззренческих вопросах трещина, разделявшая интеллигенцию на два лагеря, не только не зарастала, а продолжала расширяться, имеет полный смысл рассматривать сознание каждого из них, как и в предыдущих разделах, самостоятельно.

Как вы помните, обозреваемый сейчас период представляется нам временем, когда в главных чертах все уже определилось, когда в интересующих нас аспектах истории не произошло ничего принципиально нового и ранее сложившиеся тенденции лишь набирали силу и катились по уже ясно обозначившейся трассе к своему логическому завершению.

Сначала о радикалах. Переход власти от “железнодорожного” Александра к бесхребетному Николаю предоставил им возможность для активизации деятельности по воплощению своих идеалов в действительность. И возможностью этой они воспользовались на все сто процентов.

Не будем касаться фактической стороны деятельности российских революционных партий в последнее двадцатилетие романовского правления. О том, что она шла двумя приливными волнами, из которых вторая, сокрушившая плотину, была значительно выше и мощнее первой, о жесточайшей борьбе различных партий и групп якобы за патентование собственного рецепта спасения отечества как единственно верного, а по существу, за роль лидера движения, о разрушительном воздействии радикальной пропаганды на и без того уже ослабевшие стереотипы массового сознания достаточно хорошо известно (правда, в различных, но по большей части взаимодополняющих версиях) практически всем, кто хотя бы в минимальной степени когда-либо интересовался подобными родами вопросами.

Для нас же важна лишь констатация того весьма различным образом интерпретируемого, но в фактическом плане несомненного обстоятельства, что **интеллигенты-радикалы все сильнее и сильнее раскачивали лодку русского общества**. Опасность переворота лодки и неизбежной гибели при этом людей и культурных ценностей не только не пугала, но, напротив, вдохновляла их. Сама идея “заката” европейской гуманистической или, в другой терминологии, буржуазной культуры, а также возможности ее “освежения за счет впрыскивания варварской крови” не была оригинальной. В разных вариациях она обсуждалась европейскими мыслителями в последние десятилетия XIX и первые десятилетия XX в. Вспомним хотя бы Ф. Ницше, Э. Гартмана,

цитировавшегося нами Н.Я. Данилевского, Х. Ортега-и-Гассета, О. Шпенглера. Но российские радикалы переосмыслили ее по-своему: вместо трагического переживания возможной гибели высших ценностей человеческой культуры появилось почти плотоядное ее предвкушение как желательного и прогрессивного события. При этом о жизни после “воскрешения” радикалы говорили лишь в весьма расплывчатых, главным образом декларативно-пропагандистских выражениях. Сколько-нибудь серьезные разработки образа и характера “прекрасного нового мира” отсутствовали. (Собственно, и с психологической, и с социологической точки зрения очертания счастливого острова Утопия и должны быть предельно расплывчатыми и неопределенными.)

Зато пафос “разрушения старого мира” имел перед собой ясный, вполне определенный объект, вполне конкретную направленность. Поэтому неудивительно, что в идеологии радикалов доминировало деструктивное начало. По сути дела, она и была главным образом посвящена обоснованию необходимости разрушения существующего устройства общества и проблемам организации, “технологии” этого разрушения. Тем самым **разрушение, особенно в условиях массовой пропаганды, превращалось в самоцель.**

Вот как отражается этот пафос разрушения в одном из самых глубоких литературных свидетельств духа эпохи, к которому мы еще будем неоднократно обращаться, - в романе Андрея Белого “Петербург”. Один из героев романа, революционер Александр Иванович Дудкин, на определенном этапе своей деятельности занимается развитием теоретического обоснования необходимости разрушения современной культуры: “... период изжитого гуманизма закончен; история - выветренный трухляк; наступает период здорового варварства, пробивающийся из народного низа, верхов (бунт искусств против форм и экзотики), буржуазии (дамские моды); да, да: Александр Иванович проповедовал сожжение библиотек, университетов, музеев, призвание монголов” 34).

Даже Александр Блок, человек, по своим базисным ориентациям не имевший ничего общего с восторгом разрушения культуры, в какие-то



моменты попадал под влияние его опьяняющего пафоса. Вспомните хотя бы его “Скифов”. Что уж говорить о людях с менее развитой рефлексией!

Как и в предшествовавшие царствования, радикалы по-прежнему рассуждали с позиций системоцентристской этики. Отношение к обществу не как к совокупности неповторимых индивидов, каждый из которых представляет собой суверенное существо, ценность высшего порядка, а как к “ползущей, голосащей многоножке”, массе, с которой дозволительно манипулировать любым образом, полностью сохранилось.

Более того, если для прошлых проповедников революционного системоцентризма принесение судеб отдельных людей в жертву отвлеченной идее всеобщего блага было всеятаки актом нравственным, не лишенным внутреннего драматизма мучительным самоотречением от норм гуманистической морали во имя “высших” целей (например, характер такого волевого драматического “переступания” через нечто естественно-человеческое носят рассуждения Бакунина и Ткачева, а в художественной литературе - персонажей “Бесов”), то теперь такого рода проблемы больше не возникали. Право на манипуляцию, на социальную вивисекцию стало считаться само собой разумеющимся. Эпицентр споров из области принципиальной допустимости манипуляций переместился для радикальных деятелей в область голого прагматического расчета.

Уверенность русских радикалов в своем праве распоряжаться судьбами миллионов людей в соответствии с собственными теоретическими представлениями о “должном” не в последнюю очередь базировалась на непоколебимой убежденности каждой из группировок в том, что именно в их руках находится единственный ключ к двери, за которой откроется светлое будущее. При этом доходившие до исступления споры между различными группировками радикалистского умонастроения, увы, не наводили этих людей на мысль, что правота (и, соответственно, неправота) каждой из отстаиваемых доктрин в принципе может быть лишь частичной, относительной, односторонней.

Подобная ставшая притчей во языцех фанатичная бескомпромиссность россиян в спорах о мировых проблемах, их поразительная лихость в разрешении самых сложных социально-практических вопросов, по-видимому, во многом объясняется фактически полным отсутствием у них какого-либо опыта конструктивной политической деятельности. Авторитарный политический режим не предоставлял им такой возможности, что обычно весьма отрезвляюще действует даже на самые горячие политические головы. Известно, что когда даже очень радикально настроенный теоретик “по долгу службы” сталкивается с необходимостью решения практических вопросов (будь то вопросы местной политики, вынесения судебного приговора, частичных административных реформ и т.п.), то он проявляет куда больше осмотрительности, осторожности и в конечном счете умеренности, чем в своих теориях. Это совершенно естественно, ибо столкновение с социальной реальностью заставляет принимать во внимание десятки различных факторов, которые наедине с листком бумаги казались легко преодолимыми, а то и вовсе не заслуживающими внимания. Именно таким путем приходит политическая мудрость, а с ней - и осторожность, умеренность.

Так вот, русские интеллигенты были почти начисто лишены возможности приобретать практический политический опыт и тем самым совершенствовать свои политические теории. Они крутились в пределах различных идеальных схем, а вся их практическая энергия либо воплощалась в тотальной критике режима и прямой деструктивной деятельности против него, либо выплескивалась в ожесточенных межпартийных баталиях со своими принципиальными единомышленниками.

**Подобная ситуация благоприятствовала развитию догматизма, партийной ограниченности и социальной безответственности.** В известных пределах можно провести параллель между деятельностью русских интеллигентов-радикалов конца XIX - начала XX в. и деятельностью французских литераторов XVIII в.: и те, и другие, руководствуясь самыми благими и просвещенными намерениями,

выпустили из бутылки джинна - жестокий и кровавый дух народной революции.

Как вы помните, тип радикала-революционера в своих основных чертах сложился в России еще в предыдущем поколении интеллигентов системоцентристского толка. Однако, отмечая несомненную типологическую общность и преемственность между революционерами, охотившимися за Александром II, и революционерами, скажем, 1905 г., необходимо указать и на существенное различие в их нравственных позициях, что было обусловлено рассмотренным выше феноменом "прагматизации" радикалистской идеологии. Если революционеры 70-80-х годов стояли на позициях фанатичного героизма и безоглядной готовности к самопожертвованию, к эффектной смерти "на миру" с возгласом "смерть тиранам" (тип карбонария), то у революционеров XX в. пафос жертвенной героики в общем уступил место предпочтению менее заметной, но более последовательной, по-бухгалтерски расчетливой деструктивной работы (тип большевистского функционера). Конечно, громкие "теракты" и "эксы" по-прежнему оставались в революционном арсенале. Но теперь они превратились во вспомогательное средство, служащее либо целям устрашения власть имущих и провоцирования их на ответные меры, с тем чтобы создать условия для массовых конфронтаций населения и власти, либо еще более прозаичным задачам добывания необходимых материальных средств. **Таково основное различие двух поколений российских радикалов - "отцов" и "детей".**

В конкретной же истории революционного движения России данная метаморфоза проявилась в двукратной смене лидеров революционного дерби - сначала народников заменили эсеры, а затем на первые позиции вышла новая сила - марксисты.

Тому, что на предреволюционной "финишной прямой" марксисты - социал-демократы оказались главным "фаворитом" радикалов, в немалой степени способствовали весьма благоприятные условия, в которых проходило созревание российской социал-демократии. Это

было связано с ее положением “младшего брата” в семействе радикалов.

Власть, как известно, главную для себя угрозу видела сначала в лице народников, а позднее - в наследовавших им социалистах-революционерах (эсерах). Зажигательные бескопромиссные речи, выстрелы и бомбы с одной стороны баррикад вызвали ответный судебный-полицейский террор с другой. В то же время марксизм в течение длительного периода развивался в России практически легально. Сначала, в шуме батальонных с народниками, марксистов вообще не замечали. Потом, приглядевшись, обратили внимание, что, с одной стороны, по сравнению с другими радикалами они выглядят наименее угрожающе, а с другой - довольно резко полемизируют с ними. Иными словами, с полицейской точки зрения социал-демократы представлялись чем-то вроде “пятой колонны” в рядах радикалов, и, естественно, у власти возник соблазн использовать их в подобном качестве. К тому же теоретические воззрения марксистов казались тогда настолько отвлеченными и безопасными, что на пути распространения в России марксистской литературы даже не считали нужным воздвигать серьезные препятствия. Достаточно указать в этой связи, что уже в XIX в. Марксов “Капитал” трижды совершенно легально издавался в России. В начале XX столетия объем издававшейся в стране марксистской литературы продолжал возрастать.

Соответственно, и карательные меры властей по отношению к социал-демократам также были минимальными. Во всяком случае санкции, применявшиеся даже против наиболее активных большевиков, выглядят смехотворно мягкими, особенно на фоне суровых приговоров, выносившихся членам партии социалистов-революционеров. Существуют различные взгляды на причины подобной снисходительности властей. Ее объясняют и “мудрой тактикой” социал-демократов, и “глупостью” власти, которая была не в состоянии верно оценить масштабы исходившей от них угрозы, и сознательным, но не оправдавшимся полицейским расчетом. Есть даже основанная на документах версия, согласно которой накануне революции 1917 г. многие члены партии большевиков числились агентами царской охраны. Но не

будем вдаваться в этого рода фактические подробности, тем более что как бы там ни было, но **большевики явно перехитрили, “переиграли” и власть, и своих партнеров по радикальному движению.**

Пока народники, а затем эсеры с открытым забралом боролись с властью на авансцене, социал-демократы благодаря сложной двойной игре оставались в тени и накапливали силы. Противопоставляя себя своим “старшим братьям” по оружию, они покупали снисходительную терпимость властей. Эти действия стали первым звеном в длинной цепи маккиавеллистских интриг российской социал-демократии. Вторым стал неожиданный выход их к рампе, что сопровождалось беспардонной узурпацией монополии на представительство от имени всего движения. Подобная фантастическая по своей ловкости и беспринципности метаморфоза оказалась возможной потому, что в то время, как силы эсеровской партии были подорваны многолетними репрессиями властей, социал-демократы вследствие долговременной пренебрежительной снисходительности к ним власти сохранили свои кадры.

Вот что писал об этом в 1918 г. эсер А. Бах: “Почему партия социалистов-революционеров, верно предугадавшая социальное содержание революции, партия, являющаяся идейной выразительницей интересов огромного большинства трудовой массы, не удержалась на той высоте, куда она была вознесена революционной волной?.. Прежде всего приходится указать на то, что за время своего существования партия с.-р. подвергалась жесточайшим преследованиям со стороны царского правительства. Казни, каторга и ссылка непрерывно опустошали ряды партийных организаций и свели на нет целые поколения партийной интеллигенции. В то время как организационные ряды социал-демократических партий несли сравнительно небольшие потери и, укрепившись на местах, не теряли контакта с партийными массами, наши организационные кадры сводились в последнее десятилетие к немногочисленным группам, прозябавшим в подполье” (35). А вот что пишет Бах по поводу присвоения большевиками в момент революции эсеровской аграрной программы: “В эпоху ее возникновения

аграрная программа социалистов-революционеров вызывала не только критику, что было вполне законным, но и злостные нападки со стороны социал-демократов. Особенно злобствовали Ленин и иже с ним. Но жизнь подтвердила правильность идеологических построений социалистов-революционеров, и теперь Ленин, объявив последних врагами народа и защитниками помещиков против крестьян, целиком присвоил себе их программу” 36).

Как видите, “наследники” эсеров даже изначально не имели никаких моральных, идеологических 37) и иных табу. Увы, в борьбе за власть в стране, в которой не существовало каких-либо традиций и правил политической игры, подобная возведенная в абсолют беспринципность оказалась не недостатком, а преимуществом.

Впрочем, мы отнюдь не склонны сочувствовать эсерам, у которых в последний момент украли главный приз. Воздержимся и от предположений о том, лучше ли было бы для страны, если бы власть попала в руки не большевиков, а эсеров. Для нас важнее отметить, что и эсеры, и другие радикальные предшественники тех, кто осенью 1917 г. захватил роль распорядителя в нараставшей кровавой свистопляске, несут историческую ответственность за все происшедшее.

Как вы помните, наступление катастрофы в случае победы радикалов предвещали многие. Однако в относительно спокойной атмосфере XIX в. к этим предостережениям относились столь же беспечно, сколь троянцы - к пророчествам Кассандры. Но в наэлектризованной атмосфере начала XX в. огненные слова “мене, текел, фарес” выглядели гораздо более зловеще и определено.

Мы уже неоднократно говорили о стоявшем тогда в воздухе ожидании грозы, катаклизма. 1905 год усилил напряженность этих ожиданий и довел ее вплоть до эсхатологических видений. А. Блок, пожалуй, наиболее лапидарно передал это чувство ожидания фатальной катастрофы, сказав, что “История... взяла да и положила нам на стол настоящую бомбу. И бомбу не простую, а усовершенствованную”. Мысль о бомбе, подведенной Историей под существующий порядок бытия, по существу, является доминантой романа А. Белого.

В совершенно иной аранжировке, оркестровке и исполнении тот же мотив предчувствия гибели звучал в 1910 г. и у юного О. Мандельштама:

Когда удар с ударами встречаются,  
И надо мною роковой,  
Неутомимый маятник качается  
И хочет быть моей судьбой,

Торопится и грубо остановится,  
И упадет веретено, -  
И невозможно встретиться, условиться,  
И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются,  
И, все быстрее и быстрее,  
Отравленные дротики взвиваются  
В руках отважных дикарей...

Что же делала власть для того, чтобы устранить угрозу от раскачиваемого руками радикалов “рокового неутомимого маятника”? Витте считал, что избежать взрыва со всеми его катастрофическими последствиями можно будет только в том случае, если правительство изберет и затем будет последовательно реализовывать одну из двух альтернатив - либо железную диктатуру, либо путь конституционного развития. Сам он был готов содействовать реализации лишь второго пути, но, как добросовестный советник, докладывал императору осенью 1905 г. о принципиальной возможности обоих.

Мы уже достаточно подробно говорили о бездарности, нерешительности, о функциональной и социальной неэффективности тогдашних российских властей. Не составило исключения и принятие решения по данному, с любой точки зрения, ключевому вопросу. Власть опять бросилась из одной крайности в другую и постепенно приняла тактику спорадических умеренных репрессий, которая уже неоднократно показывала свою неэффективность с точки зрения сколько-нибудь долговременной перспективы.

Таким образом, все работало на руку радикалам и их деструктивным целям. Момент катастрофы приближался.

На этом тревожном предгрозовом фоне особенно ярким контрастом выглядит необычайный расцвет художественной культуры. Серебряный век... Для каждого, кто хоть немного знаком с русским искусством, эти слова рождают поток имен, образов, ассоциаций, то не поддающееся рационалистическому описанию “кружение сердца”, которое сопутствует общению с подлинными художественными творениями.

Мимоходом говорить о Серебряном веке как эстетическом явлении просто кощунственно. Поэтому не будем и начинать, тем более что для нас важна другая его сторона. Ведь **художественная культура Серебряного века, помимо всего прочего, была мощным источником персонцентристского “излучения”, поскольку она разрабатывала и распространяла в обществе соответствующую ему шкалу ценностей.** В определенном смысле ее даже можно считать персонцентристским символом веры.

Наиболее выигрышным способом иллюстрации данной мысли было бы обращение к творениям “великих мира сего”, “грандов” Серебряного века. Однако подобный прием, строго говоря, только продемонстрировал бы существование высоких образцов художественной культуры, что было свойственно и для более ранних периодов. Поэтому для нас важнее то, что происходило на периферии явления, за пределами сознания художественной и других культурных элит общества. И потому обратимся к стихам безвестной монашки Ново-Девичьего монастыря, о которых мы знаем лишь благодаря Марине Цветаевой. В этих безыскусных, по-детски простых и непосредственных строках содержится квинтэссенция персонцентристского гуманизма, причем в самом высоком его проявлении:

Что бы в жизни ни ждало вас, дети,  
В жизни много есть горя и зла,  
Есть соблазна коварные сети,  
И раскаянья жгучего мгла,  
Есть тоска невозможных желаний,  
Беспросветный нерадостный труд,  
И расплата годами страданий,



За десяток счастливых минут. -  
Все же вы не слабейте душою,  
Как придет испытаний пора -  
Человечество живо одною  
Круговою порукой добра!  
Где бы сердце вам жить ни велело,  
В шумном свете иль сельской тиши,  
Расточайте без счета и смело  
Вы сокровища вашей души!  
Не ищите, не ждите возврата,  
Не смущайтесь насмешкою злой,  
Человечество все же богато  
Лишь порукой добра круговой!

Вот что говорит о стихотворении такой строгий судия, как сама Цветаева: “Этой безвестной монашенкой безвозвратного монастыря дано самое полное определение добра, которое когда-либо существовало: д о б р а как к р у г о в о й п о р у к и, и брошен самый беззлобный вызов злу, который когда-либо звучал на земле... Сказать об этих строках “гениальные” было бы кощунством, и судить их, как литературное произведение - просто малость - настолько это все за порогом этой великой (как земная любовь) малости и с к у с с т в а... Эти стихи мои любимые из всех, которые когда-либо читала, когда-либо писала, мои любимые из всех на земле. Когда после них читаю (или пишу) свои, ничего не ощущаю, кроме стыда” 38).

Для нас же эти стихи - свидетельство того, что персонцентристские ценности стали находить дорогу к сознанию и тех русских людей, которые не входили в круг собственно интеллигенции. К тому же в данном случае эти ценности были не просто усвоены, а, пройдя сквозь призму подлинно христианского мирозерцания, превратились в образец нового уровня развития этического духа, поскольку в нем переплетены воедино идеи гуманизма и высокого, истинного коллективизма. По своей сути этот тип сознания близок к тому, что Б. Спиноза определил когда-то как четвертый, доступный лишь очень немногим уровень свободы, как *amor Dei intellectualis* (интеллектуальная

любовь к Богу). Дай Бог, чтобы хоть когда-нибудь наступили времена, в которые дух этот, до сих пор остающийся достоянием единиц, станет феноменом социальным!

В таком же качестве, как выразитель фундаментальных персоноцентристских ценностей, предстает перед нами и Лев Толстой. Учитывая масштаб личности этого человека, видимо, следует специально подчеркнуть, что он сейчас интересует нас не как художник, не как философ, даже не как общественный деятель, а просто как индивидуум с глубоко персоноцентристским в своей основе мироощущением. Как художник Толстой канонизирован еще при жизни, и его величие в данной области никем всерьез не оспаривалось; вокруг философских и социальных идей Толстого сломано немало копий, и мы не имеем намерений включаться в полемику по этим вопросам; общественная деятельность Толстого тоже достаточно хорошо известна.

Гораздо меньше помнят и говорят о Толстом-проповеднике, что, впрочем, и не удивительно, ибо на этом поприще он был мало оригинален. Великий мастер художественного слова, он был безыскусным, в чем-то даже наивным проповедником. И проповедовал он простые, "общеизвестные" евангельские истины двухтысячелетней давности - любовь к ближнему, добро, принципиальное отрицание права на причинение другому зла даже в качестве ответной меры... Он так верил в исцеляющую силу этих всем известных, но мало кем соблюдаемых заветов, будто получил их непосредственно из рук Христа, помимо всех наслоений и исторического опыта последующих девятнадцати столетий.

Отсюда страшная незащищенность, уязвимость Толстого как проповедника: "Когда сам Толстой со своей мечтой, навеянной чудным сновидением, выходит на городскую улицу XX века, - он беспомощен и наивен совершенно в той же степени, как наш предполагаемый выходец из первого века" 39). Но в этой же его способности отвлекаться от всего преходящего, в умении отыскать и с предельной простотой сформулировать главные принципы, могущие спасти и каждого отдельного человека, и все человечество, и состоит его непреходящее

величие как глашатая основ персоноцентризма: “Пройдут еще годы, десятилетия, века... Страсти нашей исторической минуты смолкнут... Но даже и с этого отдаления, на рубеже двух давно истекших столетий, еще будет видна величавая фигура, в которой, как в символе, воплотились и самый тяжкий разлад, и лучшие стремления нашего темного времени”<sup>40</sup>). (Насколько все-таки короленковский анализ Толстого полноценнее, глубже, наконец, честнее, чем анализ Плеханова, Горького, Ленина!)

Очень яркое впечатление о содержании внутреннего мира Толстого я получил слушая одну из сохранившихся записей его голоса. 80-летний человек, мэтр, кажется, все повидавший и испытавший на своем веку, голосом прерывающимся и, несмотря на старческую хрипотцу, как-то по-особому звенящим от волнения просит сообщить ему подробности процедуры смертной казни. За его словами и интонациями звучит горестное недоумение, искреннее желание понять, **как могут** одни люди, спокойно и размеренно, с сознанием своей правоты, причинять другим, тоже людям, смертельное зло. Конечно, можно не разделять моральной философии Толстого, но не испытывать волнения и стыда за себя самого при контакте с его такой великой и такой ранимой душой, по-моему, трудно.

**Наряду с углубленным вниманием к вопросам социальной этики художественная интеллигенция того времени интенсивно работала над критическим переосмыслением российской и мировой истории, над выработкой новых подходов к оценке событий прошлого и настоящего.** Тенденция “ура-патриотического” освещения истории еще раньше перестала задавать тон в русской литературе. Однако полная “дегероизация” прошлого, полное ниспровержение всех старых идолов, осознание порочности, ущербности, ошибочности всего исторического пути были для художественной литературы состоянием новым. “Чаадаевское мироощущение” спустя два поколения <sup>41</sup>) воскресло в поэтических образах.

Желтый пар петербургской зимы,  
Желтый снег, облипающий плиты...

Я не знаю, где вы и где мы,  
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?  
Потопить ли нас шведы забыли?  
Вместо сказки в прошедшем у нас  
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,  
Да Неву буроружелтого цвета,  
Да пустыни немых площадей,  
Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,  
Чем вознесся орел наш двухглавый,  
В темных лаврах гигант на скале, -  
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,  
Да скакун его бешеный выдал,  
Царь змеи раздавить не сумел,  
И прижатая стала наш идол.

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,  
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...  
Только камни из мерзлых пустынь  
Да сознание проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты  
Белой ночи над волнами тени,  
Там не чары весенней мечты,  
Там отравы бесплодных хотений.

(Иннокентий Анненский. Петербург, 1910)

Не правда ли, как неизмеримо далеко ушла русская литература от нерассуждающего патриотического пафоса шинельно-шовинистической поэзии, достигшей апогея в начале Крымской войны?

При этом следует иметь в виду, что развенчание прежних традиционалистских символов отнюдь не имело характер чистого, голого отрицания. **Эстетико-художественная культура Серебряного века одновременно с отрицанием старых вырабатывала и выносила на суд общества новые критерии оценки исторических событий, а также современной социальной и политической реальности.** Отрицание было лишь этапом процесса конструктивной в конечном счете деятельности. И первые позитивные результаты этой деятельности уже появились.

Примерно в последнее десятилетие романовского правления новый тип человека, настолько органично усвоившего гуманистические персонцентристские ценности, что он начинает естественным образом руководствоваться ими в повседневной жизни, приблизился к той степени распространенности, после которой явление можно считать феноменом массовым, социальным. Конечно, строго эмпирически это вряд ли можно доказать. Но косвенно об этом говорят письменные и устные свидетельства тех, кому довелось жить в то время, - большинство из них прямо или подспудно пронизывает мысль: "... какими человечными, какими внимательными друг к другу, какими, наконец, хорошими были тогда люди!"

Помимо всего остального, эти “хорошие люди” даже успели воспроизвести основы своего отношения к миру в сознании детей следующего поколения. Кстати, именно благодаря тому, что персонцентристские моральные нормы были “посеяны” в те годы весьма широко, в нашем обществе в течение длительного времени после катастрофы 1917-1920 гг., вопреки господствовавшему духу эпохи, подкрепляемому прямым насилием, еще теплились элементы иных, подлинно человеческих отношений.

Как известно, очень много для выработки и внедрения в общественное сознание этих новых социально-этических стандартов сделала российская культура, прежде всего литература. Однако в силовом поле эстетической оси социума находилась в общем незначительная часть населения страны. К тому же направление процесса в ней полярным образом отличалось от изменений, происходивших в народном сознании (сознании большинства) по двум другим ведущим осям общественного развития - социально-этической и социально-психологической. Там, как мы видели, не без активной помощи радикалов шла прогрессирующая имморализация, размывание традиционной системы ценностей и психологических сдержек, место которых ничто не замещало. В результате возникал опасный вакуум безнормативности, и заполнить его лишь тем, что создавалось в сфере художественного творчества, естественно, было невозможно.

В целом можно констатировать, что **персонцентристская интеллигенция** (речь идет уже не только о художественной интеллигенции) **гораздо менее успешно решала конструктивные задачи, чем радикальная интеллигенция - задачи деструктивные.**

Серьезной ошибкой интеллигентов-персонцентристов было их пренебрежительное отношение к возможностям сотрудничества с классом предпринимателей, который по своему мировоззрению потенциально был к ним ближе, нежели все другие слои общества.

В последние десятилетия в среде русских предпринимателей появилась небольшая в процентном отношении, но очень активная прослойка людей, которые уже заметно освободились от пресса

традиционалистских установок, что, в частности, проявилось в их тяготении к деятельности на благо общества. Даже разрозненные данные о построенных и содержавшихся на их средства больницах, школах, столовых, дешевых жилых домах, музеях и т. п., которые то и дело попадаются среди документов, выглядят весьма впечатляюще. К тому же общественная деятельность предпринимателей не исчерпывалась только благотворительными целями. Они весьма активно сотрудничали в органах самоуправления, стремились приобщиться к науке и художественной культуре, более того, всячески содействовали революционному движению. И они смогли бы сделать еще больше, если бы нашли союзников в лице лидеров движения за обновление общества - интеллигентов. Однако русская интеллигенция, всеми силами стремившаяся найти контакт с народом, в силу печального парадокса не разглядела в классе капиталистов наиболее энергичных, социально активных, способных к самосовершенствованию представителей того самого народа. Видимо, сработала давняя дворянская традиция брезгливо-чистоплюйского отношения к коммерции, к предпринимательству как к делу, "недостойному порядочного человека". В лучшем случае они лишь "снисходили" до использования средств российских буржуа, не более того. Поэтому так и не возник блок между двумя общественными силами, каждая из которых в одиночку, по мере своего понимания и возможностей стремилась к общественному прогрессу.

Таким образом, силы подлинной социальной модернизации были недостаточны и к тому же разобщены. Происшедший еще во времена Александра II раскол интеллигенции на два непримиримых лагеря усиливался. Усиливалось и роковое влияние данного обстоятельства на ход общественного развития. Разрушительные же тенденции набирали энергию и скорость. Возникла ситуация гонки с predetermined исходом, ибо деструктивные процессы шли гораздо быстрее процессов позитивных.

Исход гонки ясен не только нам - наблюдателям, устроившимся на трибунах будущего. Он был очевиден и для тех современников событий, которые обладали даром научного либо художественного

предвидения. И потому, еще раз напомним, **доминантой духа эпохи было предчувствие неминуемой катастрофы.**

Вспомните волошинские “Предвестия”:

Сознание строгое есть в жестах Немезиды:

Умей читать условные черты:

Пред тем, как сбылись Мартовские Иды,

Гудели в храмах медные щиты...

А ночью по пустым и гулким перекресткам

Струились шелесты невидимых шагов,

И город весь дрожал далеким отголоском

Во чреве времени шумящих голосов...

Уж занавес дрожит перед началом драмы,

Уж кто-то в темноте - всезрящий, как сова,

Чертит круги и строит пентаграммы,

И шепчет вещи заклятья и слова.

(1905)

Или другое, в котором зловещие пророчества лишены мистической неопределенности и выписаны с почти сценарной конкретностью:

#### **Ангел мщения**

Народу русскому: Я скорбный ангел мщенья!

Я в раны черные - в распаханную новь

Кидаю семена. Прошли века терпенья,

И голос мой - набат. Хоругвь моя, как кровь.

На буйных очагах народного витийства,

Как призраки, взращу багряные цветы.

И в сердце девушки вложу восторг убийства,

И в душу детскую - кровавые мечты.

И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость.

Я грезу счастья слезами затоплю,



Из сердца женщины святую выну жалость  
И тусклой яростью ей сердце ослеплю.

О камни мостовых, которых лишь однажды  
Коснулась кровь! Я ведаю ваш счет...  
Я камни закляну заклятьем вечной жажды,  
И кровь за кровь без меры потечет.

Скажу восставшему: я злую едкость стали  
Придам в твоих руках картонному мечу;  
На стогах городов, где женщин истязали,  
Я “знаки Рыб” на стенах начерчу.

Я синим пламенем пройду в душе народа,  
Я красным пламенем пройду по городам;  
Устами каждого воскликну я: “Свобода!”,  
Но разный смысл для каждого придам.

Я напишу: “Завет мой - Справедливость”,  
И враг прочтет: “Пощады больше нет!”  
Убийству я придам манящую красоту,  
И в душу мстителя вопьется страстный бред.

Меч Справедливости, карающий и мстящий,  
Отдам во власть толпе... И он в руках слепца  
Сверкнет стремительный, как молния разящий,  
Им сын зарежет мать, им дочь убьет отца.

Я каждому скажу: “Тебе ключи надежды,  
Один ты видишь свет. Для прочих он потух...”  
И будет он рыдать и в горе рвать одежду,  
И звать других... Но каждый будет глух.

Не сеятель сберет колючий колос сева.

Принявший меч, погибнет от меча.  
Кто раз испил хмельной отравы гнева,  
Тот станет палачом, иль жертвой палача.

(1905)

Даже у Чехова мечты о светлом будущем, когда “жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной”, когда на нее наконец снизойдет благодать и “все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежною, сладкою, как ласка”, перемежаются предчувствиями, что в этом грядущем “прекрасном новом мире” не останется места для тех человеческих качеств, мыслей, чувств, моральных норм, которые составляли лучшую часть духовного багажа современных ему интеллигентов и поныне остаются абсолютной, непревзойденной, вневременной духовной ценностью.

Нам, людям того самого будущего, о котором грезили и во имя которого жили, трудились, страдали чеховские интеллигенты, должно быть особенно тяжело, горько и стыдно читать и слушать их прекраснодушные монологи. Мы-то знаем, чем на деле оказалось это “будущее”, каким циничным надругательством над их самыми светлыми чувствами и мечтами оно обернулось. Мы также знаем о страшной судьбе этих людей и их детей, о той участи, которая ждала их за ближайшим историческим поворотом взамен согревавшей их в тяжкие минуты надежды на предстоящий отдых под сенью “неба в алмазах”. Не будем иронизировать над их несколько сентиментальными излияниями. Мы не имеем на это права, ибо наши недостатки неизмеримо хуже.

Итак, разрушение прежних ценностей, прежних моральных норм происходило быстрее и в более широких масштабах, нежели созидание новых. Возводимая в принцип беспринципность, область безнормативного, т.е. аморального, поведения расширялась количественно и укреплялась качественно. Ее социальные корни становились все более крепкими, а действия очутившихся в ее зоне людей - более организованными и агрессивными. Кризис неотвратимо приближался. А ускорила и усугубила его, сделав столь тотальным и страшным по последствиям, первая мировая война.

В условиях мира кризис также наступил бы, хотя его конкретные формы, степень остроты и катастрофичности могли бы стать иными. Кто знает!.. Впрочем, с другой стороны, и само вовлечение России в войну в определенной мере было закономерным результатом действий власти в предкризисной ситуации. Так или иначе, но нам остается только переживать нереализовавшиеся исторические возможности.

Почувствовав непреодолимость сил, со всевозрастающей энергией втягивавших страну в пучину катастрофы, невозможность переломить ход событий, некоторые интеллигенты попытались укрыться от не предвещавшей ничего хорошего реальности в мире Чистой Духовности - в искусстве, философии, мистике... В октябре 1905 г., когда все вокруг, казалось, уже падало в бездну, А. Блок оставил свидетельство своего почти детского по силе веры в Несбыточное желания остановить историческое время, как бы “заговорить” его:

В голубой, далекой спальне  
Твой ребенок опочил.  
Тихо вышел карлик маленький  
И часы остановил.

Все, как было. Только странная  
Воцарилась тишина.  
И в окне твоём туманная  
Только улица страшна.

Словно что-то недосказано,  
Что всегда звучит, всегда.  
Нить какая-то развязана,  
Сочетавшая года.

И прошла ты, сонно-белая,  
Вдоль по комнатам, одна,  
Отворила, вся несмелая,

Штору белого окна.

И потом, едва заметная,  
Тонкий полог подняла.  
И, как время, безрассветная,  
Шевелясь, поникла мгла.

Стало тихо в дальней спальне -  
Синий сумрак и покой,  
Оттого, что карлик маленький  
Держит маятник рукой.

(4 октября 1905 г.)

Но блоковский Маленький карлик не в силах был сдерживать маятник событий 42). Амплитуда его колебаний все расширялась, как у того, другого маятника, из рассказа Э.По, где подвешенная на веревке секира, с каждым своим движением делая все больший размах, приближалась к телу связанного узника. Час наступал...

...В пелене отходящего дня  
Нам была эта участь понятна...  
Нам последний закат из огня  
Сочетал и соткал свои пятна.  
Не стерег исступленный дракон,  
Не пылала под нами геенна.  
Затопили нас волны времен,  
И была наша участь - мгновенна 43).

**Сноски к главе 7.**

1 В 1894-1913 гг. средние темпы прироста валового национального - продукта России были самыми высокими среди всех стран тогдашнего мира, составляя около 6,5% в год.

2 В своей претендующей на жанр документального романа книге "От двуглавого орла к красному знамени" (Рига, 1930) Краснов в полном соответствии с примитивной монархической традицией пишет об императоре с почти религиозным обожанием и преклонением. Одним своим появлением царь разгоняет тучи, грозившие омрачить военный парад, одним движением руки вызывает единодушный взрыв ликования толпы, одним взглядом производит полный переворот в душе собиравшегося убить его анархиста.

3 Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т.3. С.331.

4 Там же. С.48.

5 Там же. С.37.

6 Там же. С.38.

7 Там же. С.462.

8 См.: Переписка Николая и Александры Романовых. 1914-1915 гг. Предисл. М.Н. Покровского. М.; П-д., 1923. Т.III. Издание было предпринято с явно компрометационными целями, которые, однако, вряд ли были достигнуты, ибо впечатление от человеческих качеств авторов писем совершенно перечеркивает убогие, предельно тенденциозные рассуждения Покровского - составителя сборника.

9 Витте С.Ю. Указ.соч. Т.3. С.91.

10 Там же. С.410.

11 Там же. С.81.

12 Горячкин Ф.Т. Первый русский фашист Петр Аркадьевич Столыпин. Харбин. 1928.

13 Подр. см. Аврех А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформ в России. М. 1991. С.234-353.

14 Там же. С.265.

15 Витте. Указ. Соч. С.332.

16 Там же. М., 1960. Т.2. С.365-366.

17 Токвиль А. Старый порядок и революция. Петроград, 1918. С.128.

18 Сологуб Ф. Мелкий бес. Кемерово, 1958. С.203-204.

- 19 Витте С.Ю. Указ.соч. Т.2. С.487.
- 20 Там же. С.492.
- 21 Там же. С.529.
- 22 Там же. С.491.
- 23 Сологуб Ф. Указ.соч. С.76-77.
- 24 См.: Толстой Л.Н. Три дня в деревне // Собр.соч. В 12 т. М., 1959. Т.12. С.490.
- 25 См.: Короленко В.Г. Дом № 13 // Собр.соч. В 10 т. М., 1955. Т.9. С.406-422.
- 26 Шульгин В.В. Дни. Л., 1927. С.50.
- 27 Витте С.Ю. Указ.соч. Т.3. С.85.
- 28 Там же. С.88. Впрочем, объективности ради следует упомянуть и о других объяснениях причин погромов. Так, А.И.Солженицын в своем обстоятельном и в целом довольно сбалансированном историческом обзоре русско-еврейских взаимоотношений без достаточных, на наш взгляд, оснований возлагает часть вины за погрому на якобы исподволь провоцировавших их народовольцев, а позднее – на “либерально-радикальные круги”, что в его терминологии означает любую оппозицию самодержавному правительству. См. Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). М., 2001. Ч.1.С. 318 и др.
- 29 Там же. С.393-394.
- 30 См.: Короленко В.Г. Мултанское жертвоприношение // Собр.соч.Т.5. С.303-324.
- 31 Манифест 17 октября 1905 года. В: Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии. М.2000. С.585-586.
- 32 Токвиль А. Указ.соч. С.119.
- 33 Витте С.Ю. Указ.соч. Т.2. С.328.
- 34 Белый А. Петербург. М., 1978. С.236.
- 35 Бах А. Революция и социализм // Год русской революции. М., 1918. С.9.
- 36 Там же. С.8-9.
- 37 Тот же Бах пишет: “Всякая ли идеология является надстройкой, я решать не берусь. Но что у большевиков правомерно-марксистская идеология была такой надстройкой, которую они без малейшего

колебания ломали и перекраивали, это не подлежит сомнению” (Там же. С.7).

38 Цветаева М. Собр.соч. В 2 т. М., 1988. Т.2. С.387,388.

39 Короленко В.Г. Лев Николаевич Толстой// Собр.соч. Т.8. С.107-108.

40 Там же. С.123.

41 Между прочим, именно тогда же, в начале XX в., были впервые после того злополучного номера “Телескопа” изданы в России находившиеся до тех пор под запретом сочинения П.Я. Чаадаева.

42 Что общего имеет это ярко выраженное желание спрятаться от ужасной реальности с состряпанным в советском литературоведении мифом о Блоке как “поэте Революции”?

43 Столкнувшись с неизбежным, Блок нашел в себе мужество сначала принять, а в какой-то момент даже приветствовать его, хотя не мог не сознавать, что в этом новом мире для него, живого, места не будет.